

Институт языкознания РАН
Институт проблем риска

Ю.А. Сорокин

**НЕКАНОНИЧЕСКАЯ
РУСИСТИКА:
СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ
И РЕПЛИКИ**



Москва
2009

УДК 81'23
С 65

Сорокин Ю.А.

С 65 Неканоническая русистика: статьи, заметки и реплики. – Москва: Изд-во Института проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца», 2009. – 223 с.

ISBN 978-5-903140-64-0 (ООО ИИЦ «Бон Анца»)

© Ю.А. Сорокин, 2009

Вместо предисловия и послесловия

Давая именно такое название книге, я понимал, что вступаю в зону риска (об этом понятии см., в частности: В. Б. Живетин. Риски цивилизации. М., 2007), отнюдь не тотального (землетрясения, эпидемии, сдвиги в климатическом равновесии и т.п.), но все-таки риска, который можно было бы квалифицировать как интеллектуальный идиориск/эгориск. Попробую объясниться.

В этой книге в минимальной степени представлены понятия и постулаты, традиционно узаконенные в русистике. Нет и привычных ссылок на канонических авторов. Проблемы, обсуждаемые в «Неканонической русистике», наверняка сочтут периферийными, хотя они, смею надеяться, имеют самое непосредственное отношение к речевому поведению человека с улицы, к его обыденной рефлексии, пытающейся справиться с осмыслением того, что он делает, когда слушает других и «читает» их вербальные и невербальные поступки, опираясь на бессознательный опыт усвоения языка (на опыт детства как опыт спонтанно творческой игры; см. в связи с этим: Ю. В. Монич. К истокам человеческой коммуникации. М., 2005; Л. Шильник. Разумное животное. Пикник маргиналов на обочине эволюции. М., 2007), для которого нерелевантны и даже безразличны научные конструкты/рационализмы, фиксирующие результаты рефлексии «по поводу факта», а не «о сути факта». Показательны, например, в этом отношении рассуждения и литературоведов (не всех!), и лингвистов (за редкими исключениями) о поэзии (и шире – о художественной литературе), существующие «параллельно» поэтическому и прозаическому тексту, лишь как комментарии «по поводу факта», как реконструкции того, что могло быть, но не того, что происходит реально (см., например: В. Батов. Мой друг Глеб Арсеньев. Психогерменевтика словесного творчества. М., 2008; У. Рейтман. Познание и мышление. Моделирование на уровне информационных процессов. М., 1968).

Для «Неканонической русистики» важен носитель языка со всем его кажущимся малознанием, с его «архаическим» чутьем к смыслу происходящего в межличностном общении, которое столь

же трафаретно и незамечаяемо, сколь оригинально и осознаваемо. Короче говоря, ему важно обустройство «дома бытия»: хранящиеся в нем вербальные и невербальные вещи, их новизна и изношенность, их привычные места, пригодность «вещей» к обыденным нуждам сейчас и завтра.

Этот дом многолюден и словоохотлив. Он живет порой и в спорах, порой и дружно: семейное сходство предполагает обязательное согласие. Живет, рискуя: выигрывая и проигрывая, обмениваясь удачами и неудачами.

Я – не исключение. Я тоже из этого дома. И мне хочется понять его распорядки. Опираясь на свой опыт и приглядываясь к опыту других, о котором можно – с оглядкой, с осторожностью – судить, исходя из оценок себя и других, старающихся перекликнуться друг с другом в доме бытия или хотя бы взглянуть друг на друга прямо или искоса.

Пытаясь рассказать об этом в своей книге, я осознаю, что вряд ли окажусь полностью убедительным. И даже правым. Но интеллектуальный риск – это все-таки родной брат инноватики/эвристики.

Раздел I: МИНИ- И МАКРОСТАТЬИ И ЗАМЕТКИ (РАЗНЫХ ЛЕТ И НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ)

§1. Психолингвистика в третьем тысячелетии (попытка прогноза)

1. На мой взгляд, в будущем появится еще одно (наряду с этнопсихолингвистикой) ответвление психолингвистики, а именно семиопсихолингвистика, в рамках которой станут изучать восприятие и понимание коммуникатов, относящихся к вторичным знаковым системам, а также строить и уточнять не только модели речевой перцепции и речепорождения, но и модели восприятия и производства семиолектов. Будет также решен и вопрос о зеркальности или незеркальности этих моделей и о локусе их паралингвистических (кинесико-проксемических) и фоносемантических фрагментов (детально описанных и экспериментально подтвержденных).

2. Вне всякого сомнения, окончательно сформируется и будет конкурировать с речевой (текстовой) деятельностью компьютерно-биоидная деятельность с такими ее составляющими как семиолектно-ретикулярные и семиолектно-аксиальные системы (семиолекты-ретикуляроиды и семиолекты-аксиоиды, компьютерофильная риторика). Исследовательские усилия сконцентрируются на поиске компьютерно-биоидных «генов» семиолектной деятельности. Этому поиску будут способствовать успехи в нейролингвистике и нейросемантике, позволяющие создать модели совмещения нейрофизиологических показателей деятельности головного мозга (интеллекта, в том числе и искусственного) с поведенческими (когитивно-когнитивными) показателями – модели совмещения нейросемиограмм с доксограммами.

3. Наряду с интенсификацией экспериментальных усилий, опирающихся на логически строгие (рациональные) постулаты, допущения и теории, следует ожидать интенсификации исследова-

ний, опирающихся на интуитивные (метафорические) постулаты, допущения и теории. Иными словами, следует ожидать появления и формирования семиософии и как ее части – культурософии (о возможном фрагменте ее понятийного аппарата см.: Ю. А. Сорокин. Лакуны и процесс моделирования образа этнической культуры и психологии (попытка операционализации культурологического фрагмента пассионарной теории Л. Н. Гумилева) // Евразия как полиэтническая система. М., 1993), а в их рамках появления и формирования этнопсихолингвистической и семиопсихолингвистической драматургии и герменевтики.

4. В свою очередь, именно эти две субдисциплины окажутся, вероятно, самыми важными для этнической конфликтологии и контактологии, в рамках которых развернутся исследования языкового (речевого) и семиолектного сознания и поведения в интраэтнических и интерэтнических средах (описание структуры языковых и семиолектных – семиотических – личностей, создание языковых (речевых) портретов и автопортретов, портретов и автопортретов сознания, а также эгоязыковых и эгосемиолектных лексиконов и тезаурусов).

5. Будущие исследования будут смещаться от изучения физического и социального пространства микро- и макрогрупп к изучению физического и социального эгопространства и отношений между ними. Отсюда следует и большее внимание к исследованию продуктивных способов языковой (речевой) и психологической защиты и эмпатии (эвристик креативности), к изучению человеческого поведения (в любой его форме) как «языка» сверхмотивированного и сверхнепереходного (аналогичного, но не тождественного поэтическому языку (Ц. Годоров) – языку художественной литературы).

6. В сфере семиософии особенно актуальными окажутся исследования различий и сходств между естественными языками и другими языками человеческого поведения, с одной стороны, и зоолектами, флоролектами и фаунолектами, с другой стороны. Следствием этого станет ревизия прежних парадигм происхож-

дения языка и мышления, и шире – истолкования понятия ноосферы. Может быть, ее будут понимать как совокупность не только возможных, но и парадоксально-невозможных миров?

7. Экология и этология человеческих мыслей и поступков будет рассматриваться как одна из возможных, но не единственно релевантных экологий и этологий, понимание которых окажется возможным лишь в результате нашего рывка в «иной предмир» – в иную типологию и тропологию трансцендентного.

§2. Антропосемиология: основные понятия и их предварительная интерпретация

Антропосемиологию, по-видимому, следует понимать как такую смежную (стыковую) дисциплину, в рамках которой изучается вербальное и невербальное – узуальное и незузуальное (девиантное) – поведение некоего субъекта, существующего не в однородной, но в разнородной и полифункциональной знаковой среде, характерной для современных лингвокультуральных общностей (ориентирующихся, как полагает П. Сорокин, на чувственные ценности). Иными словами, нынешний человек живет среди семиотических ландшафтов (семиоценозов), которые несводимы друг к другу (нетранспонируемы) и которые, в зависимости от генотипической структуры личности (психобиологического типа), оказываются в разной мере комфортными для него. В связи с этим в рамках антропосемиологии особое значение приобретает изучение психотипических образов: акустических, фоносемантических, коннотативных и аксиологических эквивалентов этих семиоценозов (или их фрагментов), составляющих то, что называют «идиокартиной мира» («образом мира»).

Целесообразным представляется также указать, что значение как антиантропоцентрическая данность нерелевантно для антропосемиологии, в которой базовыми являются понятия представления и смысла. Причем возможно следующее истолкование этих понятий: представление – это любой психотипический образ (и д и о -

образ; любое идио значение, любая идиокогитема, любой идиоаффект, любая идиоэмоционема), смысл – совокупность усредненных идиообразов (идиокогитем и идиоэмоционем), а значение есть не что иное, как указание на те или иные классы этих совокупностей. В силу того, что смыслы, а, тем более, представления – вариабельны, идиообраз следует рассматривать в качестве антропосемиологической единичности, контрастирующей с некоторой другой единичностью (иными словами, важны антропосемиологические контрастивные паспорта).

(Примечание. Антропосемиология – это прежде всего контрастивика, чьей задачей является выявление знаковых сходств и различий. Она преимущественно герменевтична, а не лингвистична).

Если принять вышеизложенные допущения, то тогда можно интерпретировать понятие идиостиля (идиолекта) следующим образом: это эгостиль (эголект), это совокупность речевых и неречевых поступков, предопределяемых личностным сценарием поведения. В свою очередь, эгостиль (эголект) есть пересечение иерархически организованных когитивно-когнитивных и эмотивно-коннотативных блоков, являющихся, по-видимому, локусом порождения новых креативных (в том числе и девиантных) связей.

(Примечание. Это пересечение, очевидно, следует рассматривать и как центр эмоциональной (эмотивной) реверберации, порождающей соответствующие семиологические (семасиологические) аффекты. Эгостиль есть также когниотип (эмо-коннотип), или, иначе говоря, некоторый «жанр» (совокупность функционально-прагматических полей), изучение которого предполагает движение по цепочке «текстовый модуль → текст → конструкт → когниотип → текстотип» (термины «текстовый модуль» и «текстотип» предложены А. Г. Барановым (Баранов 1993)).

(Примечание. Задачи, которые предполагается решать в рамках антропосемиологии, требуют пересмотра и дополнения грай-

совских (и иных) постулатов общения. Например, принцип Сотрудничества (А. Г. Баранов называет его принципом Взаимодействия) следовало бы «усилить», назвав его принципом Симбиотичности. В список постулатов общения необходимо включить и тот постулат, который можно было назвать локус-постулат (топос-постулат) и который предусматривает описание достаточно релевантных для носителей «языков» пространств, в которых эти «языки» локализуются.

Примечание в примечании. В толковании понятия пространства целесообразно опираться и на соображения М. М. Бахтина, и на соображения А. Пиза. Вторые, по-видимому, предпочтительнее).

Немаловажную роль в изучении эгостиля следует отводить и энтимемной концептуалистике (так же как и энтимемной эмотивистике) – совокупности формальных, полуформальных и семантических средств выражения умозаключений и эмоций. Показательно, например (Никитина 1994), что энтимемы могут быть сгруппированы в три класса: класс стандартной слабой суггестии, класс нестандартной сильной суггестии и класс нестандартной сверхсильной суггестии. Заслуживает упоминания и тот факт, что маркеры энтимем (операторы энтимем) существуют в двух формах – в форме сильной четкости (формальные и полуформальные маркеры) и в форме слабой четкости (семантические/концептуальные маркеры), причем возможно построение шкал энтимемной четкости в двух «языках».

Примечание. Продуктивным представлялось бы выявление операторов и построение шкал четкости в таких важных сферах антропосемиологии, как снолекты и фиэлеекты (от англ. *fear* – страх)).

Показательно также, что общеутвердительные умозаключения модуса БАРБАРА, существующие в форме языковых высказываний с отрицательными маркерами, указывают на то, что этот модус является, прежде всего, модусом маскировки, точнее говоря, маск и р у ю щ и м с я м о д у с о м, позволяющим языку и индивиду-носителю языка играть вербально-логическими противо-

речиями, неточностями, намеками, правдой и ложью. Но не менее вероятно и игра вербально-эмотивными, невербально-логическими и невербально-эмотивными неточностями и намеками.

Схождения и расхождения между технологией концептуалистики (эмотивистики) и технологией языка – если они представлены операционально, в виде определенного набора элементов или отсутствия части его, – свидетельствуют – эксплицитно или имплицитно – о наличии или отсутствии связей между семиологическим и мыслительным материалом. Именно такой подход позволит (и, может быть, в недалеком будущем) составить, хотя бы в предварительном порядке, представление о мере подобия (или неподобия) мыслительного (ментального) и семиологического поведения.

(Примечание. О сознании, его формах, типах и качествах, а также о способах его изучения см.: Ю. А. Сорокин. Этническая конфликтология (теоретические и экспериментальные фрагменты). Самара, 1994).

Если рассматривать сознание как многоярусный семиологический феномен, то весьма полезным окажется изучение его в духе психокогнитивного подхода, предлагаемого В. П. Беляниным (Белянин 1992). Особенно важными в этой связи оказываются выделяемые им маркеры «светлых», «активных», «веселых», «красивых» и «простых» текстов (а, тем самым, и маркеры «светлых», «активных», «веселых», «красивых» и «простых» психотипических образов).

(Примечание. Простой текст («простой» психотипический образ) – это, по-видимому, текст (образ), в котором потеряна функция различения ценностей. Отталкиваясь от понятия «нулевого письма» Р. Барта, такой текст (образ) можно рассматривать как текст (образ) с нулевой характерологией, точнее, с нулевой сенсильностью, что оправданнее и важнее, ибо эта характеристика прямо указывает на состояние антропосемиологического профиля (личностного портрета) коммуникатора и реципиента).

Столь же важное значение, на мой взгляд, приобретает рассмотрение маркеров текстов в качестве эмоционально-смысло-

вых и когнитивно-аксиологических доминантных ключей, позволяющих эффективно диагностировать и сами тексты, и коммуникаторов, и реципиентов. В частности, анализ «простых» текстов позволяет считать их эпилептоидными, галлюцинаторными, «сумеречными и вязкими», сниженными стилистически, а анализ сложных – позволяет считать их «шизофреническими», «аутистическими», рассудочными и символическими.

(Примечание. Рассмотрение психотипических образов в качестве доминантных ключей также обещает, по-видимому, не менее интересные результаты. Несомненен и тот факт, что оба вида ключей позволяют решить вопрос о доминантном реферировании и доминантном компрессировании и коммуникаторов, представляющих, пусть опосредованно и неполно, те или иные формы ментального существования (например, идеациональные, идеалистические и чувственные формы)).

Еще одной актуальной проблемой, которую придется решать в рамках антропосемиологии, является проблема гипертекста (гиперобраза) – вербального и невербального. Обычно считают, что гипертекст (гиперобраз) – это совокупность текстов, частично подобных друг другу в когнитивно-когнитивном и эмотивно-коннотативном отношении. Целесообразнее считать, что гипертекст (гиперобраз) – это политекст (полиобраз), латентный или реальный. Политекст (полиобраз) может существовать в двух формах – в форме текста (образа)-ретикуляроида, если он «конструируется» в рамках текстово-ретикуляроидной системы (системы, ориентированной на сетевое сопоставление и соединение текстов (образов) как когнитивно-когнитивных и эмотивно-коннотативных подобий), и в форме текста (образа)-аксиоида, если он конструируется в рамках текстово-аксиальной системы (системы, ориентированной на осевое сопоставление и соединение текстов (образов)). В настоящее время эти две системы становятся частью той гиперсистемы, которую можно было назвать компьютерно-биологической, предполагающей сосуществование амбивалентно ориентированной когитологии и когнитологии, коннотативики и эмотивистики.

(Примечание. Усложнение структуры семиоценозов, несомненно, должно учитываться исследователями, ибо на семиологических ландшафтах все больше распространяются тексты (образы)-компьютоиды и тексты (образы)-схолистивы или, иными словами, тексты (образы) интерактивно-дейктического (уточняюще-комментирующего) характера. В связи с этим немаловажное значение приобретает когнитивно-когнитивный и эмотивно-коннотативный комфорт, а также компьютерофильная риторика. Но особо парадоксальными (и, тем самым, особо интересными) окажутся, по-видимому, вопросы совмещения хомофильной когнитологии и когнитологии, коннотативики и эмотивистики с компьютерофильной – совмещения, с одной стороны, тех базовых элементов, которые целесообразно рассматривать как антропо-семиологические «гены» и, с другой стороны, тех элементов, которые целесообразно рассматривать как компьютерно-биоидные «гены».

§3. Антропоцентризм vs. антропофилия: доводы в пользу второго понятия

1. Выбор *антропофилии* в качестве предпочитаемого понятия может быть аргументирован следующим образом: любое «центрическое» отношение вольно или невольно пытается представить себя в качестве исходной точки отсчета, автономной и независимой от других «центров» и в силу этого конкурирующей с ними. Это отношение и автоаксиологично: оно признает свою ценность, но сомневается в других, ибо претендует на уникальность, как это и положено *эготической точке зрения*. Антропоцентрическое отношение – антипаритетно и *рассудочно*, утверждая себя *доказательствами*, а не *эмпатией*.

2. Любое «-филическое» отношение – эмпатично. Оно есть «расположенность и присутствие» (Марсель 1955, 99–100), «полное», противопоставленное «пустому» (Там же, 75), любовно-бережное внимание к мельчайшим событиям и фактам не только че-

ловеческого, но и соположенного с ним иного (природного) существования.

Такое отношение человека к самому себе и к другим (подобным ему и неподобным) возможно лишь в том случае, если его *эгоцентрическая (эготическая) топография* уступит место *эгофильной топографии*, в границах которой каждое эго помнит о другом, занятом съемкой той же «местности». Словом, это возможно тогда, когда «я могу выразить себя лишь поскольку я могу предстать перед лицом самого себя как другого» (Марсель 1994, 141), когда осознается, что «человек, которым можно располагать, это тот, кто способен быть со мной целиком и полностью в то время, как я в нем нуждаюсь; человек «нерасположенный»... напротив, тот, кто из совокупности своих душевных ресурсов делает как бы временное «отчисление» в мою пользу. Первый воспринимает меня как присутствие, второй – как объект» (Марсель 1995, 100).

3. Признавая, что человек – это некая неочевидная данность (Там же, 137), что он – проблема для себя как находящегося под вопросом (Там же, 139), что его существование – это существование атомизированного или распыленного индивида, следует, очевидно, предположить, что проблематизация человека (Там же, 143) продиктована его ролью как *топографа–эгоцентрика*, отталкивающегося от «восстанавливающей рефлексии» (Там же, 82), хотя именно она позволяет утверждаться в том, что «всякая личность – стяженное всеединство» и «всеобразие качественностей» (Карсавин 1993, 104, 106). И если принять, что «качественность есть момент личности и сама личность, но в связи с иным», что «момент-индивидуальность или личность всегда всеединство своих моментов: своих качественностей (за исключением первой высшей личности) и своих моментов-индивидуальностей (за исключением последней личности, индивидуализирующей лишь в качественностях)», а «момент-качественность всегда связан с иным или с разъединенностью личностей, всегда предполагает личность, как свой субъект и дифференцируем личностями, а не дифференцируется сам собою» (Там же, 105, 106), то тогда оказывается,

что *антропофилия* есть, прежде всего, *переживание моментов-качествований* во всем многообразии их природных и неприродных форм, присущих и умаленному, и неумаленному тварному единству.

4. Это переживание – парадоксально: оно имеет в виду полярность оценок (качествований), их амбивалентность, но стремится к *аксиологической толерантности*. Оно – констатация, а не приговор, *понимающая эмпатия*, а не хула или хвала.

В антропофилическом мире *показывают*, а не диктуют, сопоставляют, а не противопоставляют. В нем любые *отдельности* стремятся понять друг друга (или уразуметь причину своего непонимания).

5. Каждый антропофилический мир аранжирует себя по-своему, распределяя свои моменты-качествования в той последовательности, которая ему нужна: «Всякая культура – индивидуализация человечества... и надорганическая индивидуальность. Во всякой есть свое «личное», только ей свойственное, определяющее ее в ряду других культур. Это «личное» – его можно назвать идеею культуры – неопределимо абстрактно: оно раскрывается в конкретном всеединстве индивидуализации – качества и индивидуальностей – данной культуры и только через них символически познается» (Карсавин 1993, 161).

6. Вот несколько «букв» (качествований) из французского невербального алфавита: 1) тыльной стороной кисти руки (обычно правой) проводят несколько раз по щеке (от уха к подбородку и обратно), 2) обеими руками почесывают (поскребавают) ребра с боков, 3) соединив вместе указательный и большой пальцы (правой) руки и поднеся их к губам, ладонь поворачивают в сторону говорящего, 4) правую руку поднимают к виску, пальцы прижимают к ладони, а затем несколько раз сжимают и разжимают их, 5) большой палец (левой) руки опускают вниз, остальные – прижимают к ладони, 7) (правая) рука, чуть согнутая в локте, опущена вниз, указательный палец вытянут и им энергично помахивают из стороны в сторону, 7) кистями рук, находящимися на уровне пояса, также помахивают справа налево и слева направо, 8) кон-

чик большого пальца засовывают под верхние зубы, одновременно «автор жеста» слегка приседает, изображая на лице страх.

Первый жест указывает на то, что один из беседующих надеется своими разговорами всем остальным (конечно, этот жест используется скрытно от того, кому он адресован). Русским такая невербальная «буква» непонятна (она для них – лакуна, смысловая пустота, коммуникативная загадка), так как в этой ситуации русские или пожимают плечами, или начинают постукивать пальцами по столу, что однозначно прочитывается и понимается: «Надоело!» и «И когда он кончит говорить?!». Смысл второго жеста (второго момента качественания): мне очень смешно (русские, скорее всего, так и скажут), смысл третьего: одобрение – весьма положительное – тех или иных слов или того или иного поступка. Для русских эта невербальная «буква» пуста и непривычна: они или выразят свое неодобрение словесно («Хорошо!», «Отлично!»), или используют в этом случае другой жест: четыре пальца правой руки прижаты к ладони, большой палец поднят вверх (сама рука согнута и вытянута вперед). Четвертый жест также непривычен для русских: он используется в тех случаях, когда хотят привлечь внимание какого-либо человека, негромко окликая его. Русские в этом случае используют другую «букву»: подняв правую руку на уровень головы, они помахивают кистью руки слева направо и справа налево (причем ладонь «направлена» в сторону подзываемого). Они могут использовать и жест, аналогичный французскому: указательный палец правой руки, согнутой в локте, поднят вверх, чуть выше уровня головы, остальные пальцы прижаты к ладони, которая направлена в сторону того, кому адресован жест. И французы, и русские используют, как правило, этот жест в тех случаях, когда нужно подзвать кого-то или обратить на себя внимание, но нельзя сделать этого вслух. Пятый жест (изначально – жест, «приговаривающий» к смерти) указывает на то, что кому-то из участников беседы кое-что не нравится («Не так!», «Это плохо!»). Пятая «буква» в равной мере и экзотична, и архаична для русских, привыкших в этом случае давать вербальную оценку или использовать «гримасу недовольства»,

сопровождаемую покачиванием головой в знак отрицания. Шестой жест – это жест, выражающий несогласие или запрет. Русский «эквивалент» совпадает с французской невербальной «буквой» лишь частично: русские могут выразить несогласие также невербально, но используя иную «букву» на карте движений: покачивание головой из стороны в сторону в знак отрицания. Запрет русскими, скорее всего, будет выражен вербально.

Седьмой жест, с помощью которого французы выражают сомнение в достоверности услышанного (в достоверности сведений), а этот жест сопровождается и выражением неуверенности на лице, также непонятен русским: они наверняка используют в этом случае жест покачивания головой, подкрепляя его вербально. Восьмой французский жест не имеет, по-видимому, никаких аналогов в русском речевом общении, особенно среди учащихся, ибо означает: а) кто-то не выдержал экзамена, так как ничего не знал, б) собеседник абсолютно некомпетентен. Отметим также, что дети с помощью этого жеста подчеркивают свой страх, не желая что-то делать или слушать.

В свою очередь, соматологические моменты-качествования (соматологические модальности, находящиеся по сю сторону уровня обыденного сознания, как сказал бы Габриэль Марсель), фиксируемые русскими и японскими носителями языка, распределяются следующим образом: русские отреагировали шестнадцатью прилагательными-оценками на такую часть тела, как *руки*, а японцы – пятью. Общими оказались оценки большие, маленькие, белые, красивые, а оценка теплые характерна лишь для японцев.

Структура соотнесенных с оценками-прилагательными японских и русских сравнений (структура компаративограмм/компарациограмм) свидетельствует, что русские в основном придерживаются антропомерной сравнительной тактики, а японцы – натуромерно-антропомерной, хотя и те, и другие не пренебрегают и артефактными сравнениями. Ср. японские и русские ответы: 75 артефактных сравнений, 146 – натуромерных, 179 – антропомерных (русские), 87 – артефактных, 112 – натуромерных и 99 – антропомерных (японцы).

По мнению В. П. Федорова (Федоров 1986), если мы, русские, можем перебежать дорогу и при красном свете (а при желтом – тем более) или поехать, когда еще не загорелся зеленый, то для немцев такое поведение исключено. И нарушителей порядка осуждают («свинство»). Но и езда со скоростью меньшей, чем предписано (в городе – 50 км/час), тоже считается недопустимой (на автобанах скорость езды вообще не ограничена).

Бытовая жизнь немцев похожа на их карманную книжку-календарь: предстоящие дела расписаны чуть ли не на год (кстати, над этой особенностью подшучивал – и довольно ядовито – еще Лев Толстой). Каждое утро домохозяйки открывают окна своих спален и на подоконниках проветривают перины, подушки и одеяла (но такая привычка, по-видимому, отмирает. В Берлине 90-х годов такие мизансцены перестали встречаться).

Немцы экономны (даже прижимисты) в хозяйственных делах и щепетильны в денежных расчетах (неодать сдачу – невысказанное дело, но ни один официант или таксист не откажется от чаевых. Они – подразумеваются). И в то же время – телевизионная слежка в магазинах: крадут. И в то же время – привычная нечестность: потерянные кем-либо документы немцы вернут, но деньги – никогда.

Забота о престиже также занимает не последнее место на лестнице немецкого социального альпинизма. Престиж создается праведным и неправедным коллекционированием титулов и званий и «лепкой» своего образа: «Внешний вид... поставлен на службу успеху – как можно вести серьезные дела с человеком, если он даже не при галстук. Очень желательно иметь загорелое лицо во все времена года – значит, господин ездит в южные страны и не стеснен экономическими заботами» (Федоров 1986, 21). Меха и собака (за нее платится солидный налог) тоже прибавляют веса в глазах окружающих. Гонка за престижем начинается в 25-30 лет.

У немцев три любви: к животным, музыке и цветам. И парадокс: они жестоки к детям. Хотя он вполне объясним: жестокость – это средство приучения к порядку. Предпочитаемый напиток – пиво, хотя не брезгают и вином, в основном белым: «особенности вин начинаются с бутылок – рейнские в коричневых, мозельские –

в зеленых, «франкенвайн» – в бутылках с расплюснутым брюшком» (Там же, 123–124). Но пьяные на улицах – редкость.

Среди внутриэтических характерологических типажей-масок (вспомните наше «армянское радио», маскирующее ум глупостью) четко различимы четыре: швабы (скопидомы и нелюдимы), ост-фризы (недалекие, тупые), баварцы (грубые, но цивилизованные) и пруссаки (бедные и некультурные).

Считается, что в основе рисунка на финской этнической маске лежат особенности жителей провинции Хяме (хямллайсет; русск. емь/ямь): обособленность, независимость, некоторая мрачность, медлительность, молчаливость, недоверчивость – особенно к новшествам, замкнутость, стремление к самостоятельности, упрямство, скромность, специфическое чувство юмора (буйство и кураж – суть юмора хямллайсет).

6. Каким образом все вышеизложенное можно состыковать с понятиями культуры и цивилизации (культурального и цивилизационного)? По-видимому, *культурально* то, что *антропофиллично/антропофильно*, цивилизационно то, что *антиантропофиллично*, но именно в том истолковании этого термина, какое было предложено понятию антропоцентризма в пункте первом.

На мой взгляд, и культура, и цивилизация есть не что иное, как *антропомиметика*, но культура – это, прежде всего, *менто-эндомиметика/ментоонтомиметика*, а цивилизация – *витоэкзомиметика/витогносеомиметика* (см. в связи с этим: Сорокин 1985, 1994).

Культура есть по преимуществу *антинеологическая миметика (миметика экзистенции)*¹, а цивилизация – по преимуществу *неологическая миметика (миметика приращенья)*.

Литература

Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993.

Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994.

¹ Пользуясь термином Хартмута Шрёдера, можно сказать, что поле культуры – это поле табу-текстов.

Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995.

Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1985.

Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология (теоретические и экспериментальные фрагменты). Самара, 1994.

Федоров В. П. ФРГ: 80-е годы. Очерки общественных нравов. М., 1986.

§4. Языковая или семиотическая личность?

Для сферы массовой коммуникации и для теории общения (как и для грамматики, если рассматривать ее в качестве результирующей общения) весьма важны надежные процедуры измерения языковых и параязыковых параметров личности.

В связи с этим особое значение приобретает характер истолкования понятия «языковой личности», в которой, по мнению Ю. Н. Караулова, базовыми являются следующие «слои»: вербально-семантический, когнитивный и прагматический (прагматикон).

(Примечание. По аналогии с прагматиконом и для выравнивания терминологического ряда следовало бы первый «слой» обозначить как ВЕРБОСЕМАНТИКОН, а второй – как КОГНИТИКОН).

На мой взгляд, «языковая личность» – это лишь «частичная» личность. И, по-видимому, целесообразнее говорить о существовании семиотической личности, что, в частности, и подтверждается результатами экспериментального исследования Г. Н. Беспямятновой (Беспямятнова 1994), ориентированного на выявление знаково-бихевиоральных составляющих поведения телевизионных ведущих.

(Примечание. Процедуры «личностного обмера/семиотического обмера», несомненно, могут быть перенесены с телевизионных ведущих и на другие микрогруппы. В настоящее время такие процедуры не только сверхважны, но и крайне дефицитны).

Согласно этим результатам базовыми чертами личности, ее вербальными и невербальными модусами являются тембр, акцент,

темп (речи), артикуляционная четкость, экспрессия, оценки и самооценки, пресуппозиции и ценности, интонация, жесты и т.д.

(Примечание. Эти базовые черты/модусы можно было бы назвать онтологитивами, наборы которых неизбежно будут различаться в тех или иных микрогруппах, позволяя сравнивать их между собой. Ранжируя ведущих по степени личностного предпочтения, удалось выяснить, что значимыми для ии. оказались ролевые (мужественность/женственность) и индивидуальные характеристики (среди них характеристики внешности: взгляд, облик и т.д., и функциональные характеристики вербального поведения: дикция, мимика, интонация, голос и т.д., а также внутренние личностные характеристики: интеллект, искренность, самооценка, артистизм и т.д.). По-видимому, эти черты/модусы/качества следовало бы рассматривать в качестве АТТРАКТИВОВ, причем можно выделить три их ряда: визуальные, вербальные и паралингвистические. Иными словами, важны и внешность коммуникатора, и его личное обаяние, и поведение перед камерой, и наличие вкуса. Немаловажны громкость голоса, высота тона, темпо-ритм и дыхание, паузы, позы и жесты. Существенны также доказательность дискурса, его компактность и функционально-стилевая доминанта, уровень стереотипизированности речи, ее образность, орфоэпическая нормативность, адресованность, манера подачи отрицательных фактов и т.д.

Иначе говоря, существуют два вида семиотических портретов: эндосемиотические и экзосемиотические, позволяющие сравнивать «Я-карты» – эндогенные личностные карты – с картами-проекциями ии., с экзогенными личностными картами-проекциями зрителей.

(Примечание. В таком контексте оказывается оправданным обсуждение вопроса о степени авторефлексии и автоконтроля личности и, в частности, об эндокомфортных и экзокомфортных позах, а также о соотношении понятий телеличности (персонифицирующей личности) и коммуникативной личности).

Короче говоря, возможна и нужна языковая/речевая персонология, но она является лишь частью семиотической персонологии.

§5. Тетрагон и его грани: текст, контекст, подтекст и затекст

Начну с того, что напомним один известный эпизод: д'Артаньян после своего путешествия в Лондон отыскивает в трактире Арамиса, собирающегося поменять шпагу на сутану, и между ними происходит следующий разговор: «Сейчас мы будем обедать, любезный друг; только не забудьте, что сегодня пятница, а в такие дни я не только не ем мяса, но не смею даже глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то он будет состоять из вареных тетрагонов и плодов. – Что вы подразумеваете под тетрагонами? – с беспокойством спросил д'Артаньян. – Я подразумеваю шпинат, – ответил Арамис» (Дюма 1956, 286).

Я отнюдь не хочу сказать, что между тетрагонами Арамиса и тетрагоном (см.: «Тетрагон – *греч. tetragonon* – четырехугольник» (Словарь... 1954, 688)) в заглавии статьи есть какая-либо связь, но от некоторого беспокойства избавиться не могу. Как и некоторым другим, мне хочется знать, что же подразумевается, когда начинают рассуждать о вышеуказанных составляющих тетрагона – о тексте, подтексте, контексте и затексте. О них говорилось и писалось немало, но наиболее четко подытожил точки зрения, предлагая, в свою очередь, нестандартные решения, по-видимому, А. А. Богатырёв (Богатырёв 1998). По его мнению, «...минимальной субстанциональной единицей смыслопостроения, выступающей в качестве частной грани сложного смысла, является ноэма. Помимо смысла, в составе художественного текста можно выделить собственно содержание. Под содержанием текста понимается сумма текстовых предикаций, причем не только эксплицитных, присутствующих в развернутом виде (текстовые пропозиции), но и содержащихся в тексте в качестве выводного знания (пресуппозиции, импликации). <...> Интеграционным по отношению к содержанию и смыслу текста является понятие текстовой содержательности. Содержательность художественного текста может быть определена как сложное единство содержания

и смысла (смыслов). При этом содержание художественного текста не равно его смыслу» (Богатырёв 1998, 29).

(Примечание. Во-первых, неясно соотношение понятий *содержание* и *содержательность* художественного текста. Не является ли это соотношение несколько тавтологическим? – «Содержательность... как сложное единство содержания...» вряд ли различимы как нечто родовое и видовое. Во-вторых, как соотносятся «сложный смысл» и «текстовая содержательность», также остается неясным. И особенно потому, что она, в свою очередь, понимается в качестве «сложного единства». В-третьих, расплывчатая соотнесенность этих понятий не позволяет считать справедливым и утверждение об ее интеграционной роли).

Тем не менее, понятие интеграционности не может быть сброшено со счетов в рассуждениях о структуре художественного – и любого другого – текста, как не может быть сброшено со счетов и утверждение о его слоевом строении (Р. Ингарден). Безусловно, эти слои интегрируются, но не сами собой, а авторами и реципиентами (какого-либо текста), выступая в виде некоторой целостности, хотя в ней не исключены и некоторые разрывы (лакуны). В свою очередь, «...цельность (целостность) есть латентное проекционное (концептуальное) состояние текста, возникающее в процессе взаимодействия реципиента и текста, в то время как связность есть рядоположенность и соположенность строевых и нестроевых элементов языка/речи, есть некоторая дистрибуция, законы которой определены технологией соответствующего языка (с этой точки зрения вообще не может быть несвязных текстов)» (Сорокин 1982, 65). Ср. в связи с этим следующее утверждение А. И. Новикова: «Анализ высказываний испытуемых позволяет, на наш взгляд, предположить, что доминирующую роль... играет содержательная связь внутри некоторой структуры, характеризующейся определенной замкнутостью и целостностью. Такая структура есть не что иное, как предметная, или ментальная, ситуация, выраженная в тексте соответствующими языковыми средствами» (Новиков 1999, 46). Иными словами, **ТЕКСТ** является совокупностью предметных/ментальных ситуаций, описы-

вающих и денотативное, и коннотативное поведение (см.: Матурана 1996, 114, 119), характеризующееся определенными ноэтически-ноэматическими признаками/свойствами, специфицирующими состояние того или иного возможного (допустимого и допускаемого) мира.

(Примечание. С этой точки зрения недостаточно эвристическими оказываются такие, например, утверждения: «До недавнего времени в отечественных лингвистических работах термин «связный текст» употреблялся только для обозначения речевой продукции, зафиксированной в письменной форме. В последнее время этот термин употребляется, как правило, для обозначения не только письменной, но и устной связной речи, передаваемой различными способами. Сейчас уже можно с полной определенностью считать, что в лингвистическом узусе термин «связный текст» закрепился для обозначения связной речевой продукции независимо от способа ее репрезентации. <...> Наиболее общий характер носит закон связности. На его основе формируется само понятие связного текста. В общем виде этот закон можно сформулировать так: **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПО СМЫСЛУ, И ЭТА СВЯЗЬ ВЫРАЖЕНА РАЗЛИЧНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СПОСОБАМИ**» (Откупщикова 1982, 4, 5, 36). В связи с последним высказыванием приведу точку зрения М. Хайдеггера: «То, что мы обыкновенно считаем речью, а именно, состав слов и правила их соединения, есть лишь передний план речи» (Хайдеггер 1991, 40)).

Возвращаясь к рассуждениям А. А. Богатырёва о единице смыслопостроения/ноэматической единице (текст как их совокупность и есть то, что можно было бы назвать, пользуясь метафорой Э. Гуссерля, «геометрией переживаний» (Гуссерль 1996, 63)), следует все-таки иметь в виду ее специфический статус: «...полная ноэма заключается в целом комплексе ноэматических элементов, <...> специфический момент смысла образует в этом комплексе лишь своего рода необходимое ядро, или центральный слой, в котором сущностно фундируются другие моменты, – только поэтому мы и были вправе называть их смысловыми моментами, однако в рас-

ширительном смысле слова» (Гуссерль 1996, 77). Немаловажен также и факт корреляции ноэтических и ноэматических модификаций (Гуссерль 1996, 84), предопределяющих те или иные/слабые или сильные фокусы внимания к «геометрии переживаний». Следует учитывать, что, по мнению Э. Гуссерля, сущность ноэтического заключается «в том, чтобы скрывать в себе нечто, подобное «смыслу», скрывать в себе даже и многогранный смысл...» (Гуссерль 1996, 73), что структура *аттенционального ядра* и *аттенциональных сдвигов* формируется под влиянием тех «целесообразностей», которые ей приписывают ноэзы).

Если в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» истолковываются понятия *текста* (Лингвистический... 1990, 507) и *контекста*: «...фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста. Иначе говоря, контекст есть фрагмент текста минус определяемая единица» (Лингвистический... 1990, 238), то понятия *подтекст* и *затекст* в нем отсутствуют (по-видимому, ЭТО-ЕЩЕ-НЕ-ТЕРМИНЫ/ПОЧТИ ТЕРМИНЫ?). Почти такое (по сути) истолкование предлагала и М. И. Откупщикова: «Контекстом данного предложения принято считать часть текста, расположенную влево или вправо от данного предложения (в случае письменной формы), или произнесенную до (после) в случае устной формы. Конситуацией (или ситуацией речи) в узком смысле называются обстоятельства, сопутствующие произнесению (написанию) связного текста» (Откупщикова 1982, 13). По мнению А. А. Богатырёва, понятие контекста является растяжимым до бесконечности и «плавающим» (Богатырёв 1998, 56), а истолкование понятия подтекста, предлагаемого исследователями, противоречивым: в этом истолковании не различаются «1) потенциальные и актуальные элементы смыслообразования; 2) ноэмы, усматриваемые (а) на основе опыта семантизирующего и (б) на основе наблюдений над содержательной стороной высказывания» (Богатырёв 1998, 59). Он полагает, что «на статус сокрытого интенционального начала в тексте может претендовать «затекст». Обыч-

но этот термин интерпретируется как те значащие компоненты смыслообразования, которые непосредственно не представлены в тексте» (Богатырёв 1998, 56).

Показательно для статуса понятия *подтекст*, что Н. А. Кузьмина, обсуждая различия в истолковании *интертекста*, пишет следующее: «Интертекстом называют... подтекст как компонент семантической структуры произведения (С. Т. Золян). Центр тяжести таким образом переносится на интерпретацию, понимание (Золян 1989)» (Кузьмина 2004, 20). Показательно также, что, рассматривая *контекстную связанность* (Лайонз 1978, 250–262), Д. Лайонз квалифицирует понятие *контекста* как интуитивное/неопределяемое, настаивая на том, что «контекст высказывания не может быть просто отождествлен с пространственно-временной ситуацией, в которой оно имеет место; он должен включать в себя не только релевантные объекты и действия, происходящие в данном месте и в данный момент, но также и знание, общее для говорящего и слушающего, знание того, что было сказано раньше, в той мере, в какой сказанное ранее существенно для понимания данного высказывания. Мы должны включить в него также молчаливое согласие говорящего и слушающего со всеми релевантными обычаями, убеждениями и пресуппозициями, которые считаются «само собой разумеющимся» для членов речевого коллектива, к которому принадлежат говорящий и слушающий» (Лайонз 1978, 437). Немаловажен и факт разведения Д. Лайонзом ограниченных и развивающихся контекстов: первые, по его мнению, это контексты, «в которых участники беседы не опираются ни на предшествующие знания друг о друге, ни на «информацию», содержащуюся в ранее произнесенных высказываниях, но в которых они используют более общие мнения, обычаи и пресуппозиции, господствующие в данной конкретной «сфере рассуждения» в данном обществе» (Лайонз 1978, 443–444), вторые – это контексты, ориентированные на а м п л ф и к а ц и ю тел знаков и их ментальных коррелятов. Все вышепротитированное позволяет, по-видимому, рассматривать *текст* как совокупность контекстивов, сцепленных между собой некоторой интенциональной авторской ус-

тановкой, но контекстивов различных: контекстивов обыденного общения, контекстивов ограниченных и контекстивов амплификационных, характерных для беллетристического общения, причем они вряд ли подчиняются правилам релевантности (по Д. Лайонзу), ибо выстраиваются по принципу дополняющей друг друга мозаичности, а не в духе автобиографии или устава. Дело осложняется еще и тем, что эти контекстивы являются *интратекстовыми*, а говоря иначе, интраконтекстивами/эндоконтекстивами, которые следует отличать от интерконтекстивов/экзоконтекстивов, отсылающих не только от микро- и макрофрагмента одного текста к микро- и макрофрагменту другого текста, но и от одного *дискурса* к другому *дискурсу*, понимая под ним совокупность и вербальных, и невербальных ментально-интенциональных установок того или другого продуциента. Если полагать вслед за Ж.-П. Сартром, что этим установкам присущи, как и свободе, независимость, безосновность и неоправданность (Сартр 2004, 42), то очевидно, что их аксиологический статус может быть выявлен лишь в результате анализа авторского психотипа как совокупности экзистенциально-креативных координат (о таких попытках см.: Фаустов 2000, Савинков 2004), рамками которых ограничено чье-либо духовное бытие: «Духовность есть некое бытие, и она проявляет себя именно как бытие: ей присущи объективность, монолитность, постоянство и внутренняя самотождественность, свойственные бытию, в котором, однако, таится внутренняя оговорка: это бытие воплощено не до конца...; оно никогда не наличествует полностью, не бывает полностью зримым, но в силу своей предельной сдержанности как бы повисает между бытием и небытием» (Сартр 2004, 118). Иными словами, и эндоконтекстивы, и экзоконтекстивы суть шифтеры (в самом широком смысле этого термина), или эготические дейксисы, в чьей вербальной (и невербальной?) фактуре представлены те или иные личностные особенности/состояния, свидетельствующие о явных и скрытых установках продуциента, противопоставляемые – в жесткой или мягкой форме – некоторым другим, существующим в реальном или возможном мире. То, что А. А. Богатырёв называет *противотекстом* (лучше бы: контр-

минитекстом), оправданнее квалифицировать как эндоконтекстив, чья ценность заключается именно в его «изотеричной интервальности» (Богатырёв 1998, 84), и именно он является экстенсификатором этого окружения, способствующим возникновению остаточной энтропии (о ней см., в частности: Иванов 2004, 148–153).

По мнению А. А. Богатырёва, «на статус сокрытого интенционального начала в тексте может претендовать «затекст». Обычно этот термин интерпретируется как те значащие компоненты смыслообразования, которые непосредственно не представлены в тексте. При этом часто за термином «затекст» (в узком смысле) закрепляются опущенные, неназванные сведения, а личностный (связанный с «пониманием индивидом себя самого») аспект неназванного относится к «подтексту»... (Богатырёв 1998, 56). На мой взгляд, термин «затекст» подлежит нуллификации: он излишен, ибо «затекст» есть не что иное, как экзоконтекстив (в узком смысле этого слова), или семиомегатекст, указывающий на «значащие компоненты смыслообразования» в опыте и реципиента, и продуциента, причем этот опыт зачастую не может быть эксплицирован до конца, что и способствует возникновению *дуги беллетристической аттрактивности* между автором, текстом/художественным коммуникантом и реципиентом. Иными словами, семиомегатекст – иное название того, что следует квалифицировать как *дискурс*. К тому же «подтекст», истолковываемый в качестве разновидности «затекста» (в широком смысле этого слова), отсылающего к пониманию индивидом самого себя, есть, по сути дела, термин, оказывающийся избыточным по отношению к термину *личностный смысл*. Возможно, я не прав, но «ни одно полагание не является окончательным. Для любого полагания, полагаемого... очевидным, можно отыскать основания, чтобы отвергнуть его» (Лебедев, Черняк 2001, 216). Существует, правда, и другой выход: не отвергать основания, а усомниться в них по тем или иным причинам. Таковую возможность и представляет, например, статья В. А. Лукина (Лукин 2004). Но, во-первых, некорректно рассуждать о схеме *автор – текст – получатель* (и о соотношениях внутри этой триады), вскользь упоминая Н. А. Рубакина (при-

оритет – за ним) и обходя вниманием его библиопсихологическую теорию. Во-вторых, противопоставляя художественные тексты нехудожественным, В. А. Лукин считает само собой разумеющимся *понятие художественности*, или, лучше сказать, беллетристичности, сложность которой (и ее разновидностей) детально проанализирована А. А. Богатырёвым, указавшим на необходимость понимания ее как интенционального феномена. В-третьих, противопоставляя (художественный) текст *произведению*: «...статичный момент процесса интерпретации, характеризующийся относительно готовым и законченным результатом – проекцией цельности текста» (Лукин 2004, 119), В. А. Лукин не учитывает следующего: а) Н. А. Рубакин говорил о *проекции текста*, а не о проекции его цельности. Цельность – ингерентное качество/свойство авторского текста, а проекция есть лишь его переструктуризация, которая может быть какой угодно – и полной, и неполной, и диффузной, и латентной. Иными словами, цельность авторского текста не тождественна цельности читательских текстовых проекций, возникающих на основе психобиотипических особенностей, присущих тому или иному реципиенту/тем или иным группам реципиентов, б) проекцию вряд ли можно рассматривать как нечто статичное, относительно (?) готовое и законченное (Н. А. Рубакин указывал, что для мнематических составляющих характерна динамика. Они видоизменяются), в) *произведение*, как на этом настаивает А. А. Богатырёв (вслед за Рикером, Бартом и Лотманом), есть лишь **ВЕЩЬ**, принадлежащая некоему хронотопу/некоей **СРЕДЕ**, которая внеположена человеческой рефлексии, а **ТЕКСТ** есть **КОНТРВЕЩЬ**, возникающая в силу ментальных усилий и принадлежащая супернатуральному миру, г) по В. А. Лукину, «тип текста – это градуальное понятие, которым обозначен феномен с размытыми границами» (Лукин 2004, 121), но это утверждение относится к числу слишком «размытых»: вряд ли «понятие, которым обозначен феномен», что-либо разъясняет. Если иметь в виду не тип текста **ВООБЩЕ**, а *художественный тип текста*, то, очевидно, его следует понимать как некий конгломерат вербализированных психических состояний (экзистенциальных коорди-

нат), как некую чувственно-аффективную и когитивно-когнитивную мозаику, цементируемую, как считает А. А. Богатырёв, **ИДЕЕЙ** в том ее понимании, какое предлагал И. Кант. В-третьих, истолкование В. А. Лукиным таких, например, понятий, как *связность* и *цельность* в той же мере «традиционны», в какой и мало эвристичны. Ср.: «Связность – одно из основных свойств текста, базирующихся на его знаковой последовательности», а «...цельность – план содержания целого текста» (Лукин 2004, 117–118).

(Примечание. Показательно также и утверждение В. А. Лукина о существовании локальной и глобальной связности (Лукин 2004, 118), различие между которыми является, на мой взгляд, весьма относительным: в принципе связность всегда *локальна*, итерационна и аддитивна. Глобальная связность – это та же цельность. Неясно и его понимание того, что он называет «планом содержания». В чем его отличие от текстовой содержательности и содержательной формы (при всей спорности толкований, предлагаемых А. А. Богатырёвым)? Короче говоря, в нашем меню мало изменений: арамисовские тетрагоны не сходят со стола.

Литература

Богатырёв А. А. Элементы неявного смыслообразования в художественном тексте. Тверь, 1998.

Богатырёв А. А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала беллетристического текста. Тверь, 2001.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии // Язык и интеллект. М., 1996.

Дюма А. Три мушкетера. М., 1956.

Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М., 2004.

Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. М.–СПб., 2003.

Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М., 2004.

Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

Лебедев М., Черняк А. Онтологические проблемы референции. М., 2001.

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Лукин В. А. Типология текстов: головоломка – проблемы – кризис – новые перспективы // Русское слово в русском мире. М.–Калуга, 2004.

Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1996.

Новиков А. И. Текст, смысл и проблемная ситуация // Вопросы филологии. №3, 1999.

Откупщикова М. И. Синтаксис связного текста. Л., 1982.

Савинков С. В. Творческая логика М. Ю. Лермонтова. АДД, Воронеж, 2004.

Сартр Ж.-П. Бодлер. М., 2004.

Словарь иностранных слов. М., 1954.

Сорокин Ю. А. Текст: цельность, связность, эмотивность // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982.

Фаустов А. А. Творческое поведение Пушкина. Воронеж, 2000.

Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии // Логос. Вып. 1. М., 1991.

§6. I. Дискурс, текст, гипертекст

1. По-видимому, я не ошибусь, если скажу, что истолкование понятия дискурс, которое предлагает, например, В. А. Миловидов, является широко распространенным: «Дискурс (от *discourse* – последовательное изложение; беседа, разговор, диалог), с одной стороны, есть практика текстораспространения, процесс создания, развертывания текста во времени и пространстве; с другой стороны, дискурс – это и процедура осмысливания текста в акте художественной коммуникации, когда текст становится объектом чтения» (Миловидов 2000, 23).

На мой взгляд, такое определение не совсем корректно, ибо процесс создания текста и процесс его осмысливания вряд ли можно считать симметричными. Но существенно другое: дискурс/дискурсивные признаки (но не дискурсивные) подразумевают не только использование тех или иных конфигураций языковых/речевых

средств и понимание «мира», к которому они отсылают, но и невербальную среду/среду деятельности, которую обязаны обслуживать эти средства. Иными словами, ТЕКСТ является фрагментом/частью ДИСКУРСА, причем отношения между ними отнюдь не являются комплиментарными.

2. В. А. Миловидов предлагает (вслед за другими исследователями) также различать ТЕКСТ и ПРОИЗВЕДЕНИЕ. По его мнению, «текст может открываться аналитику только в процессе чтения, но коль скоро мы вчитываемся в текст, он «исчезает», и перед нами (то есть в нашем сознании) формируется система смыслов и метасмыслов, осмысленный текст, иными словами – произведение» (Миловидов 2000, 22). Таким образом, оказывается, что текст является и осмысленным ТЕКСТОМ, и ДИСКУРСОМ, и ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, что выглядит явно избыточным. Целесообразнее и логичнее было бы понимать ТЕКСТ в качестве того, что именуют ЗНАЧЕНИЕМ, а ПРОИЗВЕДЕНИЕ – в качестве того, что именуют СМЫСЛОМ/ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ. СМЫСЛЫ/СМЫСЛООБРАЗЫ/ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и в художественном, и в нехудожественном тексте распределены по микро- и макроситуациям (их можно было бы квалифицировать как СИТУАЦИОНЕМЫ), «соблюдающим» или «нарушающим» условия ментальных контрактов (контрактов смыслоформулирования).

(Примечание. На мой взгляд, СМЫСЛЫ/НОЭМЫ являются частью МЕНТАЛЕМ, а ноэматика входит в состав МЕНТАЛЕМАТИКИ. Сцепление СМЫСЛООБРАЗОВ приводит к кумулятивному эффекту, предопределяющему характер оценок текста – от положительных до отрицательных.

Примечание-а. Эти сцепления В. А. Миловидов именует – по традиции – ходами, хотя целесообразнее было бы именовать их КУМУЛЯТИВАМИ).

3. Для текстов, обслуживающих дискурсные практики, характерно не только сосуществование, но и столкновение МЕНТАЛЕМ (СМЫСЛОВ/НОЭМ), а также их гибридизация и размножение. Именно такое содержание я вкладываю в понятие ГИПЕРТЕКСТА – формы амплификации МЕНТАЛЕМ, – считая несущественным,

что «сегодня литературный текст – это не обязательно книга. Он может находиться на компакт-диске, а не под книжной обложкой», и весьма спорным утверждение о том, что «использование возможностей электронного посредника неизбежно изменяет форму повествования и восприятия» (Михайлович 2000, 194, 195).

(Примечание: 1) утверждение о неизбежности изменения формы восприятия относится, очевидно, к числу априорных, ибо отношение тех или иных психотипов к миру текстов остается в принципе стабильным; 2) недостаточно убедительным является и формулировка гипертекста, предложенная Р. Кувером: «Гипертекст – это электронный текст... В отличие от печатного текста с односторонним движением вместе с перелистыванием страниц, гипертекст – радикально иная технология, интерактивная и многоголосная, которая утверждает плюрализм дискурса (sic! – Ю.С.) над строго определенной фиксацией текста» (Цит. по: Михайлович 2000, 196)).

Повторяя еще раз, хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, ГИПЕРТЕКСТ – это совокупность взаимодействующих текстов и их ментальных составляющих, характер восприятия которых зависит, прежде всего, от личных особенностей реципиентов/читателей. Ссылки на то, что существуют «произведения, напечатанные классическим способом, художественная ткань которых при этом обладает свойствами гипертекста» (относятся ли к ним, например, произведения Г. Гессе или Ф. Кафки?), причем «лабиринт гиперпространства дает им более адекватную возможность раскрытия всех слоев смыслов, чем печатная версия» (Михайлович 2000, 196), не могут быть приняты без предъявления весомых доказательств.

4. Настаивая на том, что ГИПЕРТЕКСТ – это не столько форма его опредмечивания/существования, сколько ментальное множество, я хотел бы указать, что оно скрепляется, в частности, прецедентными связями (интертекстуальными «перекличками»; см. в этой связи: Фатеева 2000), указывающими на ядро смысловых вех, присущих ГИПЕРТЕКСТУ. Если рассматривать в качестве ГИПЕРТЕКСТА все произведения какого-либо автора (допустим, Н. В. Гоголя или А. С. Пушкина), то не менее важными оказыва-

ются и прецедентные связи интратекстуального характера (относительно их у А. С. Пушкина см.: Фаустов, 2000, 103–116, 149–150), а также «выборочность» авторской художественной технологии в аранжировке предметного и ментального мира (о различиях в истолковании локусов у Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина см.: Фаустов 2000, 291–297; о пушкинских тематических комплексах воспоминание/возрождение и прощание, а также о преграде/границе см.: там же, 68–116, 278–290; о характерном для творчества Н.В. Гоголя предметном и персонажном протеизме см.: Фаустов 2001).

Литература

Миловидов В. А. От семиотики текста к семиотике дискурса. Тверь, 2000.

Михайлович Я. Павич и гипербеллетристика // Павич М. Ящик для письменных принадлежностей. СПб., 2000.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. М., 2000.

Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. Воронеж, 2000.

Фаустов А. А. Творчество Гоголя: логика и динамика. Три раздела из специального курса лекций. Воронеж, 2001.

II. «Книга»: смерть подлинная или мнимая?

1. Вне всякого сомнения, для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо договориться о понимании понятия КНИГИ. Н. А. Рубакин писал, что «...библиопсихология исследует психические явления, связанные со всеми отраслями книжного дела и в них происходящие. Определение этого термина зависит от того, что мы будем понимать под книгой. Мы будем подразумевать под этим термином *всякое произведение слова, – будь это слово печатное, рукописное или устное*» (Рубакин 1977, 22).

Приведу свой комментарий относительно этого фрагмента «Психологии читателя и книги...»: «Рассматривая книгу как семантический объект, следует, очевидно, понимать под термином книга

не формальные ее характеристики (хотя типология книги может основываться и на формальных показателях), а некоторое ее потенциальное содержание, формой существования которого является набор знаков, данных в графической или звуковой форме (текст).

Содержание книги представляет собой в семантическом плане весьма сложное образование: это, во-первых, значение книги (способ ее данности), во-вторых – смысл книги (некоторый вариант значения) и, в-третьих, субъективное представление читателя о книге (по Г. Фреге). С другой стороны, содержание книги (текста) есть результат некоторого творческого процесса и одновременно процесс восприятия и понимания этого содержания читателями (реципиентами). Но и для автора, и для читателя содержание книги есть способ актуализации способа данности книги: только для автора способ данности книги (ее значение) выступает как некоторая потенциальная установка, реализующаяся в процессе создания, а для читателя процесс восприятия и понимания книги выступает как некоторая возможность возникновения установки на уровне читательского восприятия. Иными словами, содержание книги и есть ряд состояний читателей относительно некоторой книги (текста), т.е. синхронно возникших и постепенно изменяющихся проекций книги.

Восприятие и понимание содержания книги есть каждый раз переструктурирование этого содержания, но только в плане актуализированного содержания (содержания как реализации взаимодействия читателя и текста). С экстралингвистической точки зрения восприятие и понимание книги есть каждый раз взаимодействие и противопоставление социокультурных контекстов» (Рубакин 1977, 135–136).

КНИГА является семантической корреляцией, совокупностью авторских мнематических ансамблей, опредмеченных в знаках того или иного естественного языка и взаимодействующих с мнематическими ансамблями читателя. В ходе этого взаимодействия экфорируются и сопоставляются энграфические тезаурусы читателей с энграфическим тезаурусом автора, осознанно и неосознанно выявляется степень совпадения/совместимости/согласия этих

тезаурусов, обуславливающая, в свою очередь, приятие или неприятие КНИГИ как некоторого «возможного мира».

2. Если КНИГА – это некоторый «возможный мир», то форма ее опредмечивания оказывается несущественной, ибо и ее электронные версии есть не что иное, как средства, стимулирующие возникновение проекций той или иной полноты, мощности и точности. Вряд ли можно согласиться с У. Эко, считающим, что «книги говорят между собой...» (Эко 1998, 644), ибо говорим МЫ, но с их помощью как медиаторов/посредников. Наверное, на эту посредническую роль и намекает У. Эко, когда пишет, что «настоящее судебное расследование должно доказать, что виновные – мы» (Эко 1998, 644). Правда, его «брат Вильгельм из Бакавиллы» говорил и следующее: «Книги пишутся не для того, чтоб в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Имея перед собой книгу, каждый должен стараться понять не что она высказывает, а что она хочет сказать» (Эко 1998, 373). Такая точка зрения выглядит вполне убедительной, если помнить о том, что «художественное произведение можно рассматривать почти что как живое существо, которое использует человека лишь как питательную среду, эксплуатируя его способности в согласии со своими законами и создавая самое себя во исполнение собственной творческой цели» (Юнг 1997, 321). Иными словами, художественные произведения/КНИГИ суть заместитель автора, копия его психобиологических (когитивно-когнитивных и аффективных) качеств/свойств и, тем самым, суть опредмеченная/овеществленная личность, перешедшая в другую форму своего существования. Именно при таком допущении мы можем допытываться, что КНИГА хочет нам сказать, точнее говоря, добираться до тех автономных комплексов/символов, которые, по словам К. Г. Юнга, ведут самостоятельную жизнь «за пределами теократии сознания» (Юнг 1997, 325).

3. Помимо автономных комплексов, находящихся за пределами теократии сознания, существуют и будут, по-видимому, существовать автономные комплексы и, тем самым, и КНИГИ, которые находятся в пределах теократии сознания: «Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной передачи. Потом

еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять-двенадцать строк для энциклопедического словаря. <...> Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». <...> из детской прямо в колледж, потом обратно в детскую. <...> Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту все уже испарилось из памяти» (Брэдбери 1991, 232–233).

4. Разбиение КНИГ/художественных и нехудожественных КОММУНИКАТОВ на эти две группы весьма условно. На самом деле их больше. И количество их будет, по-видимому, увеличиваться в силу ментальной и нементальной парцелляции социума (в силу увеличения количества разнообразия. См. в связи в этом: Тоффлер 1997). Говоря иначе, все четче становится граница между массовой и немассовой культурой или, выражаясь жестче, между аристократизированными и неаристократизированными формами «потребления» и оценивания, целеполагания и смыслополагания.

5. Осознанием актуальности/важности этой ситуации служит книга А. Р. Усмановой «Умберто Эко: парадоксы интерпретации» (Усманова 2000), позволяющая обсудить непростые вопросы, возникающие при рассмотрении взаимодействия в рамках триады «автор – читатель – книга».

Во-первых, следует сразу же отметить, что утверждение А. Р. Усмановой: «Читатель оставался на периферии гуманитаристики вплоть до 60-х годов XX века (за исключением спорадических исследований, проводимых, скорее, в рамках социологии)» (Усманова 2000, 133) нельзя признать справедливым: еще в 1929 году Н. А. Рубакин окончательно сформулировал библиопсихологические законы, управляющие триадическим взаимодействием, а также предложил процедуры их экспериментальной верификации (см.: Рубакин 1929).

Понимая читателя/реципиента как психобиологическую единичность/мнематическое единство и толкуя языковые/речевые знаки как стимулы, сцепляющие вербальный и невербальный опыт реципиента с авторским опытом, опредмеченным в той или иной

КНИГЕ/в том или ином КОММУНИКАТЕ, Н. А. Рубакин указывал, что именно это сцепление является причиной возникновения веера проекций и их многозначности, а также на то, что КНИГА/КОММУНИКАТ является совокупностью потенциальных смыслов, становящихся актуальными лишь при взаимодействии читателя с текстом. Иными словами, Эко не был «одним из первых, кто открыл перспективу для участия читателя в порождении текстуального смысла» (Усманова 2000, 145), а его истолкование гиперинтерпретации как «опасной тенденции» Н. А. Рубакин счел бы неосновательным, квалифицировав бы ее как вполне естественную/нормальную.

Библиопсихологическая теория не допускала и не допускает поверхностно-оценочных классификаций ни читателей, ни авторов (см. стр. 57: наивный и критический реципиенты; стр. 131–132: образцовый/идеальный/подразумеваемый читатель; стр. 158: эмпирический читатель; стр. 163–166: образцовый автор). Она опирается на понятие авторского и читательского психотипов, указывающих, что в основу классификаций могут быть положены лишь автономные комплексы/типические уставки (качества и свойства) тех или иных личностей (см. в связи с этим: Фаустов 1997; Фаустов 2000). С этой точки зрения следует иначе истолковывать понятие – вполне фантомное – образцового автора, которое, по мнению А. Р. Усмановой, может быть сведено к следующему: «Образцовый автор – It, Es, Оно – лишен родовых отличий в языке, но он обнаруживает себя в качестве нарративной стратегии, как совокупность инструкций для образцового читателя» (Усманова 2000, 164). Это понятие я предложил бы понимать так: квазиобразцовый автор не лишен ни родовых, ни видовых акциденций, он есть сумма психологических качеств, вариативно представляемых в языке/речи, идиолект и ментолект, динамическая совокупность вербальных и невербальных (когнитивно-когнитивных и эмотивно-аффективных) стратегий, полностью или частично принимаемых или не принимаемых квазиобразцовым читателем. И образцовый, и необразцовый автор суть некоторое множество речевых и неречевых масок, сменяемых в процессе варьирования се-

миотическими практиками/дискурсами, но все-таки намекающих на авторскую САМОСТЬ. В свою очередь, КНИГА/КОММУНИКАТ является копией этой САМОСТИ, чья вербальная и невербальная конфигурация реконструируется читателем путем абдуктивных вспышек. В частности, большую роль в этой реконструкции играют мемы/мемокомплексы (единицы вербокультуральной памяти) (см. Келлер 1997, 257–268), на которые, очевидно, ориентируются лица, входящие в один психотипический класс.

6. По-видимому, именно эти единицы, их мощность и глубина позволяют – хотя бы на интуитивном уровне – отграничивать серийные формы культуры от несерийных, если, например, считать, что для первых характерно повторение и воспроизведение, а для вторых – оригинальность и различие, причем обе диады распознаются и, тем самым, существуют лишь в их постоянной противопоставленности в качестве и ОБРАЗОВ-ОБЪЕКТОВ, и ОБРАЗОВ-МЕТАБОЛ. Можно также, по-видимому, предполагать, что цитатофилия является характерным признаком несерийных форм, а цитатофобия – серийных (правда, следует учитывать, что ни первой, ни второй в небеспримесном виде не существует).

Не менее важен, очевидно, тот факт, что серийные формы указывают на однотипность/однородность восприятия и понимания семиотических объектов, а несерийные – на уникальность таких объектов.

7. И те, и другие объекты – в том числе КНИГИ/КОММУНИКАТЫ – парадоксальны и амбивалентны: смерть их неподлинна, а жизнь – мнима.

Литература

- Брэдбери Р. Были они смуглые и золотоглазые. М., 1991.
Келлер Р. Языковые изменения: о невидимой руке в языке. Самара, 1997.
Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М.–Ленинград, 1929.

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М., 1977.

Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.

Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000.

Фаустов А. А. Авторское поведение в русской литературе. Середина XIX века и на подступах к ней. Воронеж, 1997.

Фаустов А. А. Из материалов к курсу лекций «Истории русской литературы второй трети XIX века». Воронеж, 2000.

Эко У. Имя Розы. Роман. Заметки на полях «Имени Розы». Эссе. СПб., 1998.

Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. СПб.–М., 1997.

§7. Комментарии к трем статьям В. И. Абаева

1. Эти статьи, а именно «Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка», «Язык как идеология и язык как техника» и «Понятие идеосемантики» (Абаев 1995, 7–44, 45–66, 67–83) не могут не беречь «белого честолюбия» любого исследователя, ибо в них рассматриваются вопросы, которые с полным правом могут быть охарактеризованы как *мегаэссенциальные*. Попробуем их перечислить: 1) происхождение/возникновение языка и его функции; 2) операциональная структура сознания; 3) техническая и идеологическая семантика; 4) идеосемантика и вторичные знаковые системы. Обсуждение этих вопросов ведется автором статей в жестко последовательной форме, ибо они увязаны между собой, что и позволяет Василию Ивановичу в каждой статье вносить дополнительные оттенки в истолкование того, что можно было бы назвать идеозидологией и идеологосологией, ориентированных на изучение процесса сосуществования ЧЕЛОВЕКА и его ЯЗЫКА.

2. По мнению В. И. Абаева, возникновение языка следует связывать с теми сигнальными движениями, которые К. Лоренц и Н. Тинберген называют релизерами (см. по этому поводу: Тинберген 1993,

82–88, 121–122), причем особую роль в этом процессе играли (и играют?) звуковые релизеры (и авторелизеры), позволявшие точнее и четче отделять своих от чужих, служить «...опознавательными знаками отдельных коллективов, объективированным самосознанием и самоутверждением» (Абаев 1995, 12). В свою очередь, переход от инстинктивных релизеров к неинстинктивным следует рассматривать как «...переход от биологически детерминированных сигналов к социально детерминированным символам» (Там же, 13). Иными словами, человеческий протоязык-релизер являлся не чем иным, как совокупностью звучания и значения, «выполняющих» охранительную, аксиологическую и этнодемаркационную функции (Там же, 13–14), но в опосредованной/символической (зателесно пролонгированной) форме. И даже фонологический строй этноязыка был изначально социофонологичен (Там же, 23).

2.1. Не оспаривая этих положений В. И. Абаева, сделаем все же несколько уточнений. Он полагает, что «...язык родился не из потребности давать вещам названия, а из потребности относить вещи к своему коллективу, накладывая на них свое “тавро”» (Там же, 10), но, по-видимому, не менее важно и другое – бегство от метафизического и психологического одиночества: «Стремление к взаимной близости, – отмечает Ф. Фромм-Рейхман, – сохраняется у каждого человека с детства и на протяжении всей жизни; и нет ни одного человека, который не боялся бы его потерять. <...> И Фрейд, и Фромм-Рейхман согласны с философом Фихте, который в свое время рассуждал о том, что «Я» сначала сознательно устанавливает себя, но не осознает себя как таковое, оно сознательно не рефлексивно. Затем «Я» логически или хронологически конституирует «не-Я», «другое-Я» как условие своего собственного бытия, своего собственного самосознающего (рефлексивного) сознания. Позже, у Гегеля, «другой», взаимообуславливающий «Я», сам по себе предстает сознанием <...> «Я» затем взаимообуславливается другими сознательными «Я», и уже невозможно быть самосознающим без других самосознающих, или социальных, «Я» <...> Сознание «Я» возможно только при существовании других самосознаний» (Лабиринты одиночества 1989, 67).

Вряд ли также можно согласиться и с тем, что «звуковые комплексы принципиально нового назначения» (Там же, 11–12), или опознавательные знаки отдельных коллективов стали нести «уже не биологическую, а социальную службу», ибо «биологическая революция завершилась, началась социальная эволюция» (Там же, 12). Конечно, она началась и продолжается (см. в связи с этим: Тоффлер 1997), но связи между ней и биологической эволюцией все же сохраняются: «...сенсорные сигналы, часто весьма обрывочные и неполные, определенным образом структурируются и интерпретируются внутренними структурами, создаваемыми для этих целей когнитивной системой человека. Формирование и функционирование этих структур направляется генами» (Эволюционная эпистемология... 1996, 28–29). Иначе говоря, ЯЗЫК и ЧЕЛОВЕК являются коэволюционными величинами, подчиняющимися эпигенетическим правилам (Там же, 24–26, 174–179).

Выбирая «предметно-качественную лексику» (Абаев 1995, 11) в качестве точки отсчета своих рассуждений и считая, что все существа и предметы в праязыке-релизере делились «на социально-активные (класс личностей) и социально-пассивные (класс вещей)» (Там же, 39), Василий Иванович Абаев не приводит доказательств в пользу реальности существования такой «классификации» и – самое главное – не предусматривает возможность обсуждения иного решения, согласно которому «язык начинался не со слов, а с предложений» (Донских 1988, 94; см. также: Донских 1984), «...со сложных звуковых комплексов, которые постепенно обособлялись и упрощались» (Там же, 120), подчиняясь ПЛАНАМ речепорождения и речевосприятия: «...мы воспринимаем то, что лежит за самим звуковым потоком – план его построения. Следовательно, восприятие речи – не восприятие звуков, а замысла некоторых очень тонких действий» (Там же, 172).

В. И. Абаев полагает, что «Лексика и грамматика и генетически, и функционально – разные вещи. <...> В лексике выступает на первый план познавательный аспект языка, в грамматике – коммуникативно-технический. <...> Грамматика – это социально обработанные приемы организации языкового материала для ком-

муникативных целей. Поскольку эта отработка происходила постепенно, на базе уже существующего лексического материала, лексика и хронологически предшествует грамматике» (Абаев 1995, 11), хотя не менее допустима (и хорошо защищена аргументами) противоположная точка зрения С. А. Донских: «Я верно понял, что, по-твоему, синтаксис формируется раньше фонетики? Да, я думаю, что синтаксис возникает тогда же, когда появляются правильные стандартные орудия (250–300 тысяч лет назад), а фонетика – не раньше сотни тысяч лет назад. Она складывается как сопровождение действий, оформленных синтаксически» (Донских 1988, 174). И еще одна цитата: «Современный приверженец жестовой теории происхождения языка Г. Хьюз видит аналогию между рабочими программами производства стандартных орудий и синтаксическими структурами человеческого языка. И, я думаю, он прав. <...> Хьюз считает, что сложные серии точно выполняемых ручных актов и речевых актов имеют, по сути дела, одно основание – способность запомнить и координированно выполнить длинный ряд действий» (Там же, 153–154). Показательно также, что к характерным признакам протоязыка-релизера Ф. Кликс относит редупликацию, «относительную многозначность», полифункциональность составляющих этот язык/речь единиц, малочисленность родовых понятий (Кликс 1983, 108).

Наша проблемная ситуация еще более усложнится, если учитывать точку зрения И. Н. Горелова (а она также хорошо защищена и экспериментальными фактами, и индуктивно-дедуктивными рассуждениями), согласно которой сложные звуковые комплексы являлись (и являются, хотя и в редуцированном виде) не только «звуковыми», но и «незвуковыми», состояли из вербальных и невербальных компонентов (фонационных, мимико-жестовых, пантомимических и смешанных), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой (Горелов 1980, 75; см. также: Горелов, Енгальчев 1991). И особенно важна мысль И. Н. Горелова о том, что в акте коммуникации невербальные компоненты реализуются («развертываются») раньше вербальных. Ф. Кликс также утверждает, что в протоязыке-релизере «...звуковые выраже-

ния частично включены в жестикуляцию и мимику. Они зависят во времени от указаний и демонстрирующих пояснений, что доказывает недостаточную дифференцированность этих выражений для передачи всей имевшейся информации. <...> Звуковые образования тесно связаны с ситуацией, эмоциями и наглядными особенностями описываемого сценария. <...> ...высказывание строится как хронологически точная последовательность сцен, какими они предстают с точки зрения действующего лица. Слова сопровождают развертывание конкретных этапов действия, синтаксические средства организации высказывания еще так слабы (ср. противоположную точку зрения О. А. Донских – Ю. С.), что не позволяют выходить за рамки реального масштаба времени. Короче, речевые конструкты еще не имеют иерархического строения. <...> Слова насыщены наглядными аналогиями» (Кликс 1983, 108). Иначе говоря, составляющие языка-релизера суть синкретические (и, может быть, синестезические) комплексы, симультанная целостность логико-вербальных и образ-символических единиц.

3. Сознание рассматривается В. И. Абаевым как сумма трех операций: селекции, обобщения и классификации. Оно орудийно (практично) и оппозитивно («Только... групповые и классные оппозиции могли ориентировать человека в окружающем мире...») (Абаев 1995, 36). Лексико-семантическая система того или иного языка – это «копия» «своеобразия исторической жизни каждого народа» (Там же, 31), а сознание суть способ аранжировки предметно-значимых форм в соответствии с тем или иным этническим миропониманием (этническим смыслом) (см. в связи с этим: Радченко 1997). По-видимому, именно такой ракурс в рассмотрении феномена сознания и принимает, и не принимает Василий Иванович Абаев, ища в сопоставляемых лексико-семантических единицах скорее инвариантное/обобщающее, чем вариантное/специфическое, фиксируя свое внимание преимущественно на вербальных, чем на невербальных предметно-значимых формах (поведения), хотя именно они, как выясняется (см. например: Майол, Милстед 1999), во многом специфицируют процессы селекции, обобщения и классификации, позволяя говорить о реальности существования

признаков, характеризующих ориентальное и европейское сознание (см. в связи с этим: Сорокин 1994, 1998). Конечно, «...сознание как отношение к миру психологически раскрывается перед нами именно как система смыслов, а особенности его строения – как особенности отношения смыслов и значений. Развитие смыслов – это продукт развития мотивов деятельности; развитие же самих мотивов деятельности определяется развитием реальных отношений человека к миру... Сознание как отношение – это и есть смысл, какой имеет для человека действительность, отражающаяся в его сознании» (Леонтьев 1975, 280). С этим можно согласиться, но с одной поправкой: сознание есть этническое (этносическое) отношение к миру, система этнических (этносических) смыслов и отношений их и значений.

4. С учетом вышеизложенного рассмотрим понимание В. И. Абаевым понятия идеосемантики. Несколько цитат: 1) «По свойствам нашего сознания... никакое явление или отношение, воспринятое в опыте, не остается изолированным. В процессе осознания-названия оно вводится в систему ранее осознанных связей и отношений и таким образом занимает в ней свое место. Это место определяется, во-первых, тем, с какими другими явлениями объединяется, сближается данное явление (социативные связи); во-вторых, тем, каким другим явлениям оно противопоставляется (оппозитивные связи). Совокупность этих двоек отношений и составляет то, что мы называем идеосемантикой слова» (Абаев 1995, 37); идеосемантика есть также и «историческая семасиология» (см.: Абаев 1995, 67); 2) «...существуют две семантики – семантика изолированных, технических значений – техническая семантика, и семантика генезиса и взаимосвязи значений – идеологическая семантика»; 3) «...относительно каждого элемента речи, каждого речевого акта у нас может встать два вопроса: что выражается этим элементом и как, каким способом оно выражается. Техническая семантика отвечает на первый вопрос, идеологическая – на второй» (Абаев 1995, 45–46).

(Примечание. Наряду с идеосемантикой допустимо, по-видимому, и существование идеоморфологии и идеосинтак-

тики. См., например, две работы, свидетельствующие в пользу такого предположения: И. А. Стернин. Проблемы анализа структуры значения слова (Воронеж, 1979) и Интерференция в русской речи казахов (Алма-Ата, 1988)). «Большую семантику» (идеосемантику/«внутреннюю форму») (см. в связи с этим: Радченко 1997, 263–276) и «малую семантику» (Абаев 1995, 68) можно уподобить двум ручьям, один из которых, «большой», постоянно оскудевает, а другой, «малый», постоянно наполняется. Или, как говорит В. И. Абаев, «на смену идеологии, выраженной в самом языке (как идеологической системе), приходит идеология, выраженная с помощью языка как коммуникативной системы» (Абаев 1995, 53–54).

Замену идеологической системы техникой общения (Там же, 53) Василий Иванович Абаев не связывает с «...потребностью дать грамматической структуре непосредственное и адекватное отражение новых форм мышления и мировоззрения в противовес прежним. В процессах технизации, если к ним внимательно присмотреться, сказывается больше незаинтересованность в старой идеологии, чем заинтересованность в какой-то новой. Эти процессы знаменуют не переход от одной логической системы к другой, а отказ от использования грамматики в качестве средства выражения той или иной общественной идеологии как логической системы» (Там же, 60). Но, по-видимому, не только грамматики, как об этом свидетельствует, например, работа С. Г. Васильевой, изучавшей «смешанную речь» и выяснившей, что ее характер зависит и от грамматического фильтра русского языка (он «ограничивает возможность широкой вербализации лексем татарского языка без ущерба для их агглютинативной фоноорганизации» (Васильева 1999, 35)), и от грамматической проницаемости татарского языка («...такое свойство его типологической организации, которое в процессе речепорождения обуславливает широкую возможность вербализации лексем русского языка без нарушения грамматических правил структурирования татароязычной речи» (Там же)). Иными словами, эти процессы позволительно рассматривать как процессы замены одних ассоциативно-семантических слоев другими

(а может быть, и обмена ими), позволяющими судить о степени усталости татарской и русской идеосемантик.

(Примечание. О принципиальной возможности или невозможности такого обмена (о доводах «за» и «против») позволяет судить, например, работа Д. Б. Гудкова (Гудков 1999), в которой прецедентные имена, функционирующие в русском лингвокультуральном сообществе, рассматриваются, говоря словами В. И. Абаева, в качестве таких совокупностей, которые **ЯВЛЯЮТСЯ** и симпатическими (и для носителей, и для носителей русского языка), и оппозиционными/антагонистическими (и для тех, и для других)).

Идеосемантика есть, видимо, то, что Дж. Гибсон (Гибсон 1988, 173–176, 292–295) называет видимым полем (эгорецепцией и экстероцепцией), есть когнитивно-когитивная и аффективно-эмотивная диспаратная фокусировка видимого мира как вербально-невербального двуединства (об их статусе см. также: Золян 1991; Мамардашвили 1995; Якобсон 1987). Если это так, то идеосемантический подход В. И. Абаева к поэзии и прозе, а также к другим вторичным знаковым системам (см. в связи с этим: Семиотика 1983) оказывается вдвойне справедливым. И может быть, наступит и такое время, когда мы будем спорить о целях и задачах идеосемантического переводоведения и идеосемантической семиологии.

Литература

Абаев В. И. Избранные труды. Общее и сравнительное языкознание. Т. 2. Владикавказ, 1995.

Васильева С. Г. Разноязычие («смешанная речь»): диалектика явления и сущности. Казань, 1999.

Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

Горелов И. Н. Невербальные аспекты коммуникации. М., 1980.

Горелов И. Н., Енгальчев В. Безмолвный мысли знак. Рассказы о невербальной коммуникации. М., 1991.

Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М., 1999.

Донских О. А. Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, 1984.

Донских О. А. К истокам языка. Новосибирск, 1988.

Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. Ереван, 1991.

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.

Лабиринты одиночества. М., 1989.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. М., 1999.

Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995.

Радченко О. А. Язык как созидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. М., 1997.

Семиотика. М., 1988.

Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология (теоретические и экспериментальные фрагменты). Самара, 1994.

Сорокин Ю. А. Введение в психолингвистику. Ульяновск, 1998.

Тинберген Н. Социальное поведение животных. М., 1993.

Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.

Эволюционная эпистемология: проблемы, перспективы. М., 1996.

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

§8. Сознание и ментальность: теоретические предпосылки их изучения

1. По-видимому, сознание и ментальность – два разных понятия. Первое из них указывает на тот фрагмент личности, который ориентирован на логизирующую форму осмысления мира и всех Других в нем, а второе – на спонтанную форму существования в мире и интуитивную форму понимания и самого себя, и других личностей. Различие между сознанием и ментальностью как рефлексивно поверхностным и глубинным убедительно представлено, например, А. Д. Синявским (см.: «В тени Гоголя» в: Абрам Терц

(Андрей Синявский). Собр. соч. в двух томах. Т. 2. М., 1992), предпринявшим удачную попытку реконструкции личности Н. В. Гоголя (его писательского и человеческого психотипа). Не менее показателен и тот факт, что тексты Гофмана и Новалиса, интуитивно не различаемые по их ментальной аранжировке, становятся различаемыми лишь в результате рефлексивно-логизирующего усилия, позволяющего установить, что в их основе лежат два разных телеологических комплекса (о комплексах Гофмана и Новалиса см.: Гастон Башляр. Психоанализ огня. М., 1993). Иными словами, для изучения феноменов сознания, очевидно, предпочтительны методы и приемы, ориентированные на строгие доказательства и формальные рассуждения, а для изучения феноменов ментальности – парафрастические (нарративные) методы и приемы. Так или иначе, но для обоих видов сознания необходимо располагать некоторыми интуитивными или неинтуитивными (операциональными) допущениями, позволяющими метафорически или сугубо точно судить о сути и формах сознания и ментальности.

2. В этой связи существенным представляется установление мощности двух сопоставляемых языков (и культур) (диглосно-билингвальных распределений), а также выявление постулатов-предписаний – типа описанных Г. П. Грайсом, – которыми руководствуется тот или иной язык (та или иная культура). Причем следует учитывать, что список Грайсовских постулатов неполон и нуждается в уточнении применительно к диффузным лингвокультуральным средам. Например, в этот список необходимо включить тот постулат, который можно было бы назвать «локус-постулат» (или «топос-постулат») и в силу которого речь должна описывать лишь достаточно релевантные для носителя языка пространства. Как и сама локализоваться в них. Не менее важно и понимание сути контрастивного сопоставления. На наш взгляд, контрастивное сопоставление – это, прежде всего, расшифровка криптограмм, предлагаемых языком и культурой, прояснение принципиальной смысловой непрозрачности одного языка и культуры относительно другого языка и другой культуры и фиксирование результатов прояснения в формах обыденного сознания и истолкования. Ко-

роче говоря, контрастивистика (так я назвал бы дисциплину, занимающуюся выявлением языковых и культурологических (точнее, семиотических) сходств и различий) для меня скорее не лингвистична, а герменевтична. Важным представляется также и истолкование понятий представление, смысл, значение: представление – это любой идиообраз (любое идиознание, любая идиокогитема), смысл – это совокупность усредненных идиообразов (идиокогитем), принятых в некоторой лингвокультуральной общности, значение есть не что иное, как указание на те или иные классы этих совокупностей. С учетом такого истолкования представляется возможной и расширительная интерпретация «нулевого письма» (Р. Барт), а именно как «нулевой характеристики/нулевой сенсibilityности», оказывающейся присущей (на уровне представления) процессу восприятия и понимания любых форм вербального и невербального поведения – особенно дистанционно далекого. Например, становится ясно, что для изучения китайских фразеологизмов (и не только вербальных, но и невербальных – кинесических и проксемических) как инерционных структур-композиций, характеризующихся устойчивой поведенческой комбинаторикой, необходимо использовать термины-понятия, позволяющие видоизменить и расширить рассматриваемое поле рефлексии. В частности, использовать понятия первичный идеограмматический комплекс и вторичный идеограмматический комплекс, указывающие на две разные по своему характеру когниции: первый комплекс, по-видимому, является словосочетанием (идеограмматидом), а второй – словом (лексидом). Такой же принцип разделения применим, очевидно, и к анализу таких идеолексов, как «ломка четырех старых», представляющих собой свертку когнитивно-когнитивных комплексов, в результате которой «экономятся» реляционные отношения. Целесообразно было бы также считать, что существуют единицы, которые следует рассматривать как полные аксептивы (единицы, «принимающие» друг друга), и единицы, которые следует рассматривать как неполные/частичные аксептивы. В качестве соотнесенных с ними, несомненно, находятся и гомогентивы

(образования, чье значение равно единице), и парасеманты (чьи значения заведомо больше единицы), и диффузивы (чьи значения колеблются в широких пределах).

§9. Новая ментальность: в чем ее суть? (монолог о предполагаемых «других»)

Мы и вы – это реальность в ее глубинной подлинности. Все мы, дыша одним воздухом, живем в той среде, которую В. И. Вернадский назвал ноосферой. В среде, являющейся зеркалом, отражающим нас самих. Мы понимаем это – осознанно или неосознанно (различие между двумя видами таких пониманий – не столь важно) – все яснее и четче, хотя и понимаем не до конца. Причиной нашего неконечного понимания является, на наш взгляд, избыток **информационной демагогии**, опирающейся на «допуски», установленные институциональными (внеличностными по своему характеру, вспомните Маркса) организациями. Иными словами, нам не хватает межличностных контактов, знаний индивидуально-бытовых, жизни, существующей прежде всего как цепочка привычек и традиций, правил поведения и «правил мысли», разрешений и запретов, жизни, существующей не в виде волевых предписаний, а как поток самореализации человеческой личности. Короче говоря, давайте вспомним Тома Сойера и то, как он красил забор (ведь, в конце концов, тете Полли важно было, чтобы забор был хорошо и добросовестно выкрашен). И постараемся, «заменив» друг друга, сделать в этом заборе несколько калиток: через них удобнее ходить друг к другу, чем прыгать – с разрешения и без разрешения – через забор. Такие калитки – лишь начало к тому, чтобы его снести. Снести и ваш, и наш забор. Ибо он не один, их два. Один поставили вы, другой – мы. Между этими заборами – нейтральная полоса («а на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты»), – пел когда-то Высоцкий), и мы окликаем – не видя – друг друга и через эту полосу, и через эти заборы.

Может быть, крася их и собирая цветы на нейтральной полосе, мы получше разглядим друг друга и поговорим о «Шиллере,

о славе, о любви», о наших детях, нуждах и заботах, о счастье и бедах, о том, что лучше: иметь или быть? (Об этом и спрашивал Э. Фромм.) Помните его вопрос к самому себе и к нам: «Если я – это то, что имею, и если я теряю то, что имею, то кто же тогда я?».

Поговорив, мы, наверное, найдем ответ и на фроммовский вопрос: я – это такой индивид, который, имея, умеет и хочет терять, ибо осознает, что «собственность» является причиной его отчуждения от других и от самого себя. Да и потерять нужно совсем немного: наше взаимное и обоюдострое недоверие и непонимание (а они-то и являются источником злобы и вражды).

Мы не хотим сказать: давайте изменимся так, чтобы быть неразличимыми и похожими друг на друга – все-таки мы живем в мирах, устроенных на разных этнических основаниях – но потерять немного, прорубить две-три калитки в заборах, окружающих наши датские королевства, взглянуть друг на друга и поговорить о времени и о себе нужно, хотя бы для того, чтобы, как писал В. Хлебников, «помимо закона тяготения найти общий строй времени».

А он, общий строй времени, становится другим. Этот нарождающийся строй можно было бы назвать новой ментальностью. Хотя ментальность не может быть ни новой, ни старой, – формы ментальности инвариантны в силу своей «нейрофизиологичности» – примем такую метафору, памятуя о том, что любая метафора – это один из возможных неформализованных способов решения каких-либо сложных проблем, эвристическая процедура, помогающая прояснить суть дела, универсальная форма примирения «да» с «нет», помогающая избегать конфликтных ситуаций и однозначных решений, архетип, позволяющий приходить к компромиссам в наших социальных «играх».

Если ставить себе цель истолкования понятия новой ментальности, то придется признать, что мы находимся в самом начале процесса осознания и освоения содержания этого понятия. Но, тем не менее, общие контуры новой ментальности можно установить.

Итак, какой же ее смысл? Каковы ее контуры? В чем ее новизна?

Прежде всего в том, что новая ментальность – это символ появления установки, мобилизующей на размышление о способах человеческого существования. Именно человеческого, этнического, а не национального и государственного. Мы слишком много занимались обществом, «дизайном» материальных и нематериальных сред, которыми окружили себя, занимались природой (естественными средами, в которых мы живем), столь «успешно» калеча ее и обесценивая себя, что настало время, когда именно человек становится предметом тщательного изучения. Изучать способы человеческого существования – это и значит изучать универсальные/общие человеческие достоинства и недостатки, пределы свободы воли и технологической свободы (а они варьируются в зависимости от «вхождения» индивида в ту или иную лингвокультуральную общность), «картины мира» (вспомните Сепира–Уорфа), которые служат картами, с которыми он сверяется, изучать аксиологию и праксеологию деятельности, моральные и этические «кодексы и уставы», пределы допустимых поступков.

Короче говоря, изучение способов человеческого существования – это изучение, если пользоваться терминологией Дж. Мура, органических единств, на соблюдении которых строится жизнь любой лингвокультуральной общности. Так как та или иная лингвокультуральная общность – уникальна (в силу «единичности» биоценозов и ментаценозов, которые ее объединяют и стабилизируют), то изучение лингвокультуральных общностей (этносов) является и изучением чужого специфического опыта, понимая который, начинаешь лучше понимать и свой собственный (понимать самого себя). Этому пониманию могут способствовать и черты «невольного» сходства (откуда они берутся – вопрос особый). Например, мы представляем, что успех американской художественной литературы в нашей стране объясняется тем, что в русский и американский менталитет «заложена» некоторая общая доля пессимистичности (русская часть в американском котле этноса?), облегчающая русским восприятие американской литературы (несмот-

ря на различия в конфликтах, образах, точках зрения и в голосах авторов). От трагического Платонова легче перейти к не менее трагическому Фолкнеру и от Фолкнера к Платонову. От Сарояна к Ю. Казакову и В. Шукшину, от Сэлинджера к Достоевскому и А. Битову. И, наверное, рассказывать о зеленых лугах космоса мог бы не только Бредбери, но и И. Аксаков.

По-видимому, русские и американцы похожи и в другом: в бытовом поведении, в отношении к жизни как испытанию на «прочность», в оценках иронии и юмора.

Изучать способы человеческого существования и понимать, тем самым, самих себя – это значит изучать и понимать человека в его социальной «маске». Но она, на наш взгляд, лишь искусственно остановленный (и необходимый) фрагмент человеческой «мимики», навязанный индивиду и выбираемый им в силу необходимости. Эта «маска», как правило, и вводит в заблуждение, если ее – вольно или невольно – выдают за единственную, за символ того, чем является человек, принадлежащий тому или иному этносу. В рамках новой ментальности такая канонизация «масок» недопустима, ибо она в принципе не «театральна», оставляя игру «масками» Брехту и Арто.

Иными словами, мы перестаем «играть» в жизнь. Наш мир – не детская, а люди – не игрушки. Чтобы узнать, что же находится внутри человека, не нужно его ломать. Его нужно узнать и понять, хотя бы для этого и понадобилось съесть пуд соли. И у вас, и у нас нет другого выхода. Конфликтные стратегии изжили себя. Война – не выход. Это понимал еще канцлер Горчаков. Пора понять и нам. И мы начинаем осознавать насущную необходимость такого понимания. И рассказываем (в художественной форме) о людях, которые пишут сочинения под таким, например, названием: «Милосердие как политический инструмент: опыт сравнительного анализа некоторых средневековых доктрин». И учимся быть милосердными и терпимыми, ибо «милосердие – самая выгодная политика по чисто коммерческим соображениям. Не по нравственным критериям, не по выбору между добром и злом – нет, именно по циничному будничному расчету в категориях прибы-

лей и убытков, то есть исходя из трезвой оценки эффективности прилагаемых усилий: поступаем так – и получаем то-то, поступаем не так – и не получаем ничего или получаем, но такой ценой, что эффект не выдерживает никакого сопоставления с затратами, которые пришлось для этого приложить...» (Николай Шмелев).

Не будем спорить с автором относительно добра и зла: у Достоевского мера эффективности того и другого, «истоков» этих начал рассмотрена достаточно подробно. Обратим внимание на другое: нам предлагают быть разумными эгоистами и жить, сообразуясь с прибылями и убытками своего поведения. Жить по Матфею: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Иными словами, новая ментальность – это та забытая ориентация на «свое», которая заставляет полагать, что такое «свое» присуще всем. Эту ориентацию следовало бы охарактеризовать как этносизмическую, понимая под этносизмом (в противовес национализму) совокупность уникальных – в силу их специфической конфигурации – микро- и макромоделей вербального и невербального поведения, совокупность культуральных форматов, предполагающих определенные способы измерения вещного и мыслимого мира, который одновременно есть и мир собственной самооценки, и самоидентификации.

По-видимому, в настоящее время изучение этого мира целесообразнее вести, используя не только рационально-логические, но, прежде всего, – интуитивно-инсайтные приемы исследования, причем исследования, старающегося быть относительной реконструкцией вживания в этот мир, – быть скорее расплывчатым, чем точным образом.

§10. Теория лакун и оптимизация межкультурного общения

Базовым в теории лакун является следующее допущение: процесс интракультурального и интеркультурального общения (и на межличностном, и на текстовом уровне) есть процесс конфликт-

ный в силу различий в объеме и структурировании личностного и этнического опытов – как вербальных, так и невербальных. Иными словами, если процесс межкультурального общения и можно рассматривать как диалог (полилог), то лишь как в высшей степени оппозитивный, диалог сознаний, в ходе которого оспариваются чужие когнитивно-когнитивные и эмотивно-аксиологические позиции и установки, защищаются свои «точки зрения» и предпринимается попытки совместить и согласовать чужое и свое, исходя из недооценки чужого и переоценки своего. Это диалог, в репликах которого чередуются приятие и понимание с неприятием и непониманием, недооценка с переоценкой. Это диалог с такими фазами развития, которые лишь кажутся гармоничными, ибо на каждой фазе и внутри каждой фазы возникают зоны согласия и несогласия той или иной интенсивности и мощности, совмещающиеся между собой и придающие специфическую (в зависимости от этнического расстояния, разделяющего субъектов общения) конфигурацию диалогу (полилогу). В этой конфигурации как совокупности реплик общения особый интерес представляют чужие реплики – реплики недооценки, неприятия, непонимания и несогласия, свидетельствующие о недостаточной смысловой прозрачности или полной смысловой непрозрачности того или иного неавтохтонного фрагмента вербального и/или невербального поведения, и текстового, в частности, воспринимаемого субъектом общения. Такие фрагменты поведения – фрагменты диалогических реплик – и квалифицируются как *лакуны*.

Большее или меньшее наличие их в процессе общения (и, в частности, текстового) приводит к большей или меньшей лакунарной напряженности этого процесса, смягчаемой, как показывают наблюдения, использованием интуитивно или сознательно отыскиваемых приемов заполнения или компенсации лакун (об этом подробнее см.: Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина. Национально-культурная специфика художественного текста. М., 1989; Г. А. Антипов, О. А. Донских, И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин. Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989).

По-видимому, есть все основания утверждать, что основным свойством лакун является их амбивалентность: они, с одной сто-

роны, аттрактивны – как и все оцениваемое в качестве непонятного, странного, экзотического, ошибочного (конечно, такая оценка требует от реципиента/субъекта соответствующей рефлексивно-культуральной изоэтрности), а с другой стороны – деструктивны, ибо являются причинами возникновения непонимания и квазипонимания, способствующего, в свою очередь, возникновению чувства ложной эмпатии (фантомной эмпатии).

Амбивалентность лакун, очевидно, «порождается» символическостью (в смысле П. А. Флоренского; см. по этому поводу: Особенное. Из воспоминаний П. А. Флоренского. М., 1990) той сферы, которую создает вокруг себя этнос и которую можно было бы назвать сферой *культуротаксиса* (положительного или отрицательного) – сферой, ориентированной на притяжение или отталкивание автохтонных и/или неавтохтонных (фрагментов) моделей речевого и неречевого общения.

(Примечание. Любой этнический культуротаксис является, по-видимому, частью цивилизационного семиотаксиса. Иными словами, семиотаксис является макросферой, а культуротаксис – микросферой притяжений или отталкиваний. В свою очередь, в культуротаксисе также могут быть выделены субстратные слои – эко-субтаксис (экологический субтаксис) и этносубтаксис (этологический субтаксис), причем в этносубтаксисе возможна градация по спецификации притяжений и отталкиваний: логотаксис, аксиотаксис, когио- и когниотаксис, эмоциотаксис).

По лакунам – и языковым, и речевым, и культурологическим – можно вполне обоснованно судить о мере совместимости одного культуротаксиса с другим, о характере и степени различий между ними, указывающих на то расстояние, на котором находятся друг от друга субъекты общения. По-видимому, наиболее диагностирующими в этом отношении являются прецедентные тексты как возможные лакуны и, в частности, такие их подвиды, как идеологические и персоналистические лакуны (в ряде случаев прецедентные лакуны могут носить и идеологический, и персоналистический характер).

Например, для русских и, тем более, для нерусских могут оказаться культуротаксически пустыми или вызывающими культуротаксический дискомфорт такие прецедентные тексты: 1) «В конце концов Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер, с тем, чтобы, так сказать, офутляриться совершенно...» (отсылка к тексту Чехова); 2) «...и он всю жизнь ставил квелое, дюжинное кино, и через горькое пьянство он прошел, этот силикоз для добытчиков радия из тысячи тонн словесной руды...» (отсылка к тексту Маяковского); 3) «Ты у нас прямо человек-пароход, – сказал ему Чегодаев. – Ты не Нетте будешь случаем по фамилии?» (отсылка к тексту Маяковского, в которую, в свою очередь, инкорпорирована с помощью фамилии Чегодаев отсылка к тексту Платонова); 4) «Ну, это, положим, напрасны ваши совершенства, – сказал мне Чегодаев как бы из одолжения» (отсылка к тексту Пушкина); 5) «Это сочетание в конечном итоге выпестовало и разум, но вовсе не тот разум, который позволяет извлекать квадратные корни, а тот разум, который утверждает, что всеобщее счастье, построенное на смерти всего одного ребенка, не стоит выеденного яйца» (отсылка к тексту Достоевского) (см.: В. Пьецух. Я и прочие. Циклы. Рассказы. Повести. Роман. М., 1990, стр.: 36, 50, 140, 141, 181).

Не менее деструктивным (или вообще выпадающим из сферы внимания, понимания и оценки) может оказаться такой текст-портрет, который представлен в повести В. Войновича «Москва 2042» (М., 1990) – портрет писателя Сим Симыча, рисуемый с расчетом на узнавание неявного прототипа – А. И. Солженицына (если этот портрет не узнается, у читателя возникает персоналистическая лакуна).

Специфическую трудность для неносителя русского языка представляют также и имплицитно качественные онимы типа «тимуровец», являющиеся непрозрачными в сигнификативно-коннотативном отношении и требующими не только отсылки к тексту-источнику (в данном случае к тексту Гайдара), но и перечисления и интерпретации семных составляющих этих некогда директив-

ных образов-мифонимов (ср. с «тимуровцем» как возможной идеологической лакуной такой оним, как «стахановец»).

Не следует, конечно, считать, что лакунарная напряженность возникает лишь при восприятии художественных текстов или онимов типа перечисленных выше. Она не менее характерна и для обыденного (рутинного) общения и, в частности, для такого его фрагмента, как паремиологический.

(Примечание. Паремии, по-видимому, можно также рассматривать в качестве прецедентных текстов трех, по крайней мере, типов: а) одни из них прецедентны в том смысле, что описывают и оценивают некоторую повторяющуюся ситуацию, прозрачную в когнитивном отношении (эти паремии можно было бы назвать автокогнитивными), б) другие – описывают и оценивают некоторую повторяющуюся ситуацию, полупрозрачную в когнитивном отношении (эти паремии лишь указывают, что такое описание и оценка существовали прежде, но не позволяют реконструировать структуру ситуации. Такие паремии можно было бы назвать поликогнитивными – допускающими широкий разброс толкований, – или паремиями с ослабленной контекстуальной/конситуативной связью), в) третьи – описывают и оценивают ситуацию, полностью непрозрачную для реципиента (эти паремии не позволяют реконструировать – на синхронном уровне – «внутреннюю форму» прецедента, являясь монокогнитивными паремиями)).

В частности, предъявление 20 паремий ии.-студентам (31 юноша, 25 девушек (филологи и математики) с просьбой описать смысл каждой паремии привело к следующим результатам: у юношей-математиков глубина цепочки неузнавания паремий (предел неузнавания) равна/равен 1–6 паремиям, а у юношей-филологов – 1 или 3 паремиям. У девушек-математиков глубина той же цепочки неузнавания (предел неузнавания) равна/равен 2–7 и 9 паремиям, а у девушек-филологов – 1–3 и 5 паремиям.

Еще более сложный характер лакунарная напряженность приобретает в том случае, когда объектом восприятия и понимания оказывается соматологическая карта – карта частей человеческого тела (глаза, подбородок, рот, зубы, нос и т.д.).

Результаты направленного ассоциативного эксперимента в достаточно представительных группах испытуемых-студентов (русские и казахи) показывают, что чтение этой карты происходит с использованием модусов оценки, различающихся по своей значимости для каждой этнической группы. Например, русскими такой знак-ориентир, как глаза, воспринимается прежде всего в симбиотическом отношении (двуфокусно – в качестве и физического, и социального знака), затем он оценивается в отношении цвета, размера и, наконец, формы. Среди симбиотических оценок наибольший вес имеют следующие: *красивые, умные, выразительные, глубокие, добрые*. В отношении формы глаза характеризуются как *круглые, раскосые, косые*. По размеру они – *большие*, а по цвету – *голубые* или *карие*.

Казахами такой знак-ориентир, как глаза, оценивается прежде всего в отношении цвета, а затем в симбиотическом отношении. Затем этот знак-ориентир оценивается в отношении формы (таких оценок столько же, сколько симбиотических) и, наконец, размера.

Среди цветовых оценок наибольший вес имеют следующие: *черный* и *сине-зеленый*, а среди симбиотических – *милые, прозрачные/чистые, смешливые, острые*. В отношении формы глаза характеризуются как *верблюжьи* (круглые), *бараньи, суженные, круглые*. По размеру они – *большие* или *маленькие*.

Если, как мы видим, лакунарная напряженность может возникать на интраэтническом межиндивидуальном (субъект-субъектном) уровне общения, то, несомненно, она может еще более усиливаться в тех случаях, когда один этнический культуротаксис осознанно или неосознанно сопоставляется некоторым наблюдателем (представителем той или иной лингвокультуральной общности) с другим этническим культуротаксисом.

(Примечание. По-видимому, именно лакунарная сверхнапряженность является одной из причин возникновения этнических конфликтов, указывающих на различия в телеологии культуротаксисов, в равной мере ориентированных на усвоение чужого и на защиту от него (так же, как и на защиту от универсального).

Если принять это допущение, то лакунарная напряженность должна рассматриваться как одно из основных (базовых) понятий этнической конфликтологии).

Насколько сложен и труден процесс сопоставления культур-ротаксисов, свидетельствуют попытки Н. И. Бердяева охарактеризовать этнологические и когнитивные стили, присущие русским и «западноевропейцам»: «Западные культурные люди рассматривают каждую проблему прежде всего в ее отражениях в культуре и истории, то есть уже во вторичном. В поставленной проблеме не трепещет жизнь, нет творческого огня в отношении к ней. Было такое впечатление, что существует лишь мир человеческой мысли о каких-либо предметах, лишь психология чужих переживаний. <...> Русские рассматривают проблемы по существу, а не в культурном отражении. Я по крайней мере всегда говорил о первичном, а не о вторичном, не об отраженном, говорил как стоящий перед загадкой мира, перед самой жизнью; говорил экзистенциально, как субъект существования. Даже когда французы говорили об экзистенциальной философии, то говорили об экзистенциальной философии у Кирхегардта, у Гейдеггера или Ясперса. Но это значит, что сам говоривший не представлял собой экзистенциальной философии. Говорили всегда о *чем-то*, но не обнаруживали себя как это *что-то*. Западные люди помешаны на культуре (по немецкой терминологии), на цивилизации (по терминологии французской), они раздавлены ею. Их мышление оченьотяжелено и, в сущности, ослаблено традицией мысли, раздроблено историей. <...> Французы, замкнутые в своей культуре, сказали бы, что они находятся в стадии высокой культуры (цивилизации), русские же еще не вышли из стадии «природы», то есть варварства. Первичное и есть «варварство». Но уже не французы, а я сам должен сказать, что в России духи природы еще не окончательно скованы человеческой цивилизацией. Поэтому в русской природе, в русских домах, в русских людях я часто чувствовал жуткость, таинственность, чего я не чувствую в Западной Европе, где элементарные духи скованы и прикрыты цивилизацией. Западная душа гораздо более рационализована, упорядочена, организована разумом цивилиза-

ции, чем русская душа, в которой всегда остается иррациональный, неорганизованный и не упорядоченный элемент. <...> Русские гораздо более социабельны (не социальные в нормирующем смысле), более склонны и более способны к общению, чем люди западной цивилизации. У русских нет условности в общении. <...> Один очень почтенный и известный французский писатель сказал на одном интернациональном собрании, на котором я читал доклад: «Из всех народов французы более всего затруднены в своих отношениях к ближнему, в общении с ним, это результат французского индивидуализма. Французу свойственно чувство рассеяния. <...> У французов меня поражала их замкнутость, закупоренность в своем типе культуры, отсутствие интереса к чужим культурам и способности их понять. <...> Французы верят в универсальность своей культуры, они совсем не признают множественности культурных типов. <...> Все, что я говорю о Западе, в меньшей степени применимо к Германии, которая есть мир промежуточный. Различие, которое я пытаюсь установить между русским и западноевропейским типом и о котором я не раз писал, напоминает различие, которое Фробениус устанавливает между Германией и Западом (Францией и Англией). Запад, говорит он, основан на фактах и хочет их рационализировать, Германия же основана на реальности, которая глубже фактов, и Германия стоит перед иррациональностью судьбы» (Н. И. Бердяев. Самопознание. М., 1990, стр. 235–237). (Ср. с этими сопоставлениями не менее сложную задачу описания русского семиотаксиса и культуротаксиса, а в нем и таких его слоев, как экосубтаксис и этосубтаксис, предпринятую Н. О. Лосским (см.: Н. О. Лосский. Характер русского народа. Франкфурт-на-Майне, 1957).

(Примечание. Бердяевское сопоставление русского и западноевропейского типа, очевидно, нуждается в перепроверке и уточнении: а) необходимо было бы увеличить мощность таких сопоставлений за счет расширения списка сравниваемых человеческих качеств, б) сопоставить русский тип не только с западноевропейским, но и с ориентальным, в) выявить, какие, например, качества русского и французского типа изменились и трансформировались,

а какие остались стабильными, г) составить матрицу совпадающих и расходящихся между собою качеств (матрицу онтолого-аксиологических человеческих качеств) и д) экспериментально проверить валидность этой матрицы в различных этнических группах – в частности, степень согласия тех или иных ии. с набором предложенных своих и чужих человеческих качеств и с адекватностью их истолкования).

Конечно, рассмотренные варианты возникновения лакунарной напряженности не могут считаться окончательными. Лакунарная напряженность не менее характерна для невербальных контекстов (кинесиотаксис и проксемиотаксис), чем для вербальных. Причем взаимное сосуществование этих контекстов в процессах общения как контекстов наслаивающихся друг на друга лакунарных напряженностей может еще более способствовать возникновению дискомфортного (и даже конфликтного) состояния у субъектов общения.

В то же время понимание того факта, что процесс общения есть процесс столь же гармонический, сколь и конфликтный, столь же прозрачный в смысловом отношении, сколь и непрозрачный, заставляет искать способы взвешивания и уравнивания гармоничности и конфликтности, прозрачности и непрозрачности с тем, чтобы разьяснять чужим – свое, своим – чужое, разьяснять правила бытия, принятые в каждом из действительных и возможных этнических миров.

Мне кажется, что изложенные выше теоретико-прагматические соображения вполне могут быть использованы в качестве способов взвешивания и уравнивания общего и специфического, а также истолкования и корректировки поведения субъектов в условиях межкультурного общения.

(Последнее примечание. Я надеюсь также, что эти соображения могут служить достаточно эффективными приемами увеличения толерантности и рефлексивности (медитативности) в тех или иных этнических организмах. По-видимому, эти приемы окажутся полезными и для решения проблемы *идентификации* (соотношения «своего» и «чужого») и проблемы соотношения *национализма* и *этносизма*).

§11. Семиосфера/ментосфера: четыре независимых микроописания

I. Дом и дорога в представлении вьетнамцев

Мой приятель, вьетнамец, проучившийся в России лет пятнадцать, рассказывал, что когда, наконец, к нему приехала семья (жена и двое детей – мальчик семи лет и девочка пяти лет), ему пришлось забыть о всех своих делах и буквально не отходить от них. К снегу и выбеленным деревьям на дворе дети привыкли быстро. И гораздо медленнее привыкали к людям. Однажды, когда в лифт зашла высокая и крупная женщина – девочка расплакалась. Дома отцу удалось докопаться до причины слез: «Тетя – слишком большая». Такими же большими казались ей (мальчик оказался похрабрее) и гости-невьетнамцы, приходящие в дом: она от них пряталась. С квартирой – большой трехкомнатной – тоже не все сразу утряслось: непривычной оказалась высота (девятый этаж) и самое главное – отсутствие знакомых ориентиров.

Как правило, традиционный вьетнамский дом состоит из «трех частей и двух крыльев»: «часть» – это внутреннее пространство дома, ограниченное столбами и стропилами, а «крыло» – левая или правая «доля» дома. Этот дом – одноэтажный, и в нем три комнаты: две небольшие боковые («крылья») и одна центральная, делящаяся на три части (но без стен и перегородок; столбы в ней служат знаками того, где одна часть «переходит» в другую). Центральную комнату вьетнамцы считают наружной/внешней, а боковые комнаты – внутренними. Во «внешней» комнате находится алтарь предков и мягкая мебель для приема гостей (собственно, это – гостиная), а «внутренние» служат спальнями и местом хранения имущества и продуктов (и в московской квартире вьетнамцы воспринимают гостиную как внешнюю часть дома, а спальню – как внутреннюю). В нетрадиционном доме (в таком, где комнаты распознаются не слева направо, а поочередно) передняя комната воспринимается вьетнамцами как внешняя, задняя – как внутренняя. Но это противопоставление (безусловно, бессозна-

тельное) может и нейтрализоваться, например, в том случае, если спальни родителей и спальни детей расположены рядом или напротив друг друга: тогда считается, что у этих комнат – одинаковый статус.

Для русских спать на кровати – значит спать или с краю, или у стенки; для вьетнамцев спящий у стенки воспринимается как спящий «внутри», а спящий на краю или на середине кровати – как спящий «снаружи». Если в комнате находятся две кровати и они стоят в ее центре, то кровать, стоящая ближе к двери, считается наружной, а стоящая дальше – внутренней. Но возможна и другая оценка – в зависимости от наблюдателя, который будет считать кровать, стоящую ближе к нему, передней, а стоящую дальше – задней.

В доме различаются главные и неглавные комнаты: в первых живут хозяева, во вторых – прислуга (хозяйские комнаты строятся так, чтобы находиться повыше остальных). И даже в домах (или в квартирах) современного европейского типа сохраняется традиционная ориентация на «верхние» и «нижние» помещения. Говорят: «подняться в дом», но «спуститься в кухню».

Хотя каждый дом – чья-то крепость, из него все-таки уходят и снова туда возвращаются. В микрорайоне (зона соседних домов, переулков и улиц) вьетнамец также ориентируется по-своему: если дом, к которому он движется, находится за пределами переулка, но на этой же стороне улицы, то идущий **ВЫХОДИТ** туда. В том случае, когда два дома находятся на пересечении переулка и улицы, вьетнамец **ВЫХОДИТ** к дому, если его фасад смотрит на улицу (считается, что дом находится **ВНЕ** переулка), и **ПЕРЕХОДИТ** к дому, если его фасад смотрит в переулок.

При расширении зоны перемещения учитываются другие факторы: 1) рынок или почта находятся рядом с микрорайоном. Тогда вьетнамец также **ВЫХОДИТ** к ним; 2) они находятся **ВНЕ** микрорайона (на севере или на юге). В этом случае вьетнамец **ПОДНИМАЕТСЯ** к ним.

Движение из города к морю (порту) считается движением «наружу»; такой же считается поездка в городские пригороды. Но

ехать, например, в Чолон (район компактного проживания китайцев в Хошимине) – значит ехать ВНУТРЬ города.

Считается также, что движение с севера на юг – это движение из открытого в замкнутое пространство (движение ВНУТРЬ), причем к востоку или юго-востоку (приморские районы страны) можно СПУСТИТЬСЯ, а к северу, северо-западу и юго-востоку (горные районы) можно лишь ПОДНЯТЬСЯ.

Вьетнамцы могут мыслить «я» и как конечную точку движения, и как указание на МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ этого «я» в пространстве (например, приглашение: «Оставайтесь сегодня вечером ночевать у меня» передается по-вьетнамски лишь как: «ВЕЧЕР СЕГОДНЯ СПАТЬ ОСТАВАТЬСЯ МЕСТО Я»), а само движение могут рассматривать либо в целом, либо выбирать из него значимые отрезки. Например, два вопроса к землякам: «Ходили ли Вы в Большой театр?» (досл.: ВЫ УЖЕ ПРИЙТИ БОЛЬШОЙ ТЕАТР ЛИ?) и «Вы уже были в Большом театре?» (досл.: ВЫ УЖЕ ВОЙТИ БОЛЬШОЙ ТЕАТР ЛИ?) предполагают наличие двух образов у спрашивающего. В первом случае он мыслит себя находящимся в гостинице вместе со своими земляками и представляющим путь ОТ ГОСТИНИЦЫ К ТЕАТРУ, во втором – «выбирает» последний отрезок пути, представляя, что находится РЯДОМ С ТЕАТРОМ (Ли Тоан Тханг 1993).

Литература

Ли Тоан Тханг. Пространственная модель мира: когниция, культура, этнопсихология (на материале вьетнамского и русского языков). М., 1993.

II. Вьетнамские сравнения как переводческие ловушки

Прежде чем познакомить вас с ними, нужно, наверное, сказать вот о чем: русские и вьетнамцы различаются между собой фокусировкой когитивно-когнитивного внимания. Если мы, разговаривая, стараемся дать представление о предмете в целом, то вьетнамцы – лишь о его части. Судите сами: «золотая печень + железный живот» – преданность, «прохладная + рука» – спо-

собность к лечению или воспитанию кого-либо, «вкусные + глаза» – приятный на вид, «синие + глаза» – очень бояться; «прямая + + спина» – ленивый. Русский может сказать: «Я очень устал», и не уточнять, от чего, вьетнамец обязательно уточнит: устал от работы, ходьбы, устал вертеть шей. Когда он говорит, что у него «переворачивается печень» – это означает, что он злится (бесится). А желая похвалить кого-либо, он скажет: «Светлый живот», имея в виду, что этот человек – умный.

Конечно, и русским, и вьетнамцам свойственны и общие оценки-характеристики: «уши чуткие, как у собаки», «шея длинная, как у гуся», но есть и такие сравнения, которые вряд ли пришли бы на ум русскому – например, сравнение маленьких ушей с ушами мыши или сравнение красивых (круглых) глаз с глазами голубя.

Хотя еще римляне полагали, что «с трудом верится тому, чему верить тяжело», давайте все же попробуем справиться с этой тяжестью. Итак, с чем же сравнивают вьетнамцы тонкие губы или прямые ноги? С бумагой или черенком листа кокосовой пальмы. Плоская голова похожа, по мнению вьетнамцев, на голову сома, а пухлые щеки – на блины из рисовой муки. Пальцы на ноге, если они не тесно прижаты (растопырены), напоминают утиную лапу или веник, согнутая (горбатая) спина – сваренную креветку, большие глаза – крупную улитку, «длинная» – (русские скажут: «широкая») спина – коромысло или спину гиббона, короткая шея – спину свиньи (русские в этом случае указывают на толщину: толстая, как у свиньи) или черепахи, короткие пальцы напоминают бананы, рябое лицо – осиное гнездо, а густые брови – гусеницу (или веник).

Кстати (ad vocem), если вы угостите вьетнамцев конфетами «Мишка на севере» («Мишка косолапый») – не удивляйтесь их недоумению и расспросам: это для нас он неловок и неуклюж, а для них – жаден, дерзок и нагл.

III. Китай: по воспоминаниям и книгам

Если рассказывать о Китае – на это, придется, видимо, потратить всю жизнь – 1001 ночи явно не хватит. Единственный выход –

поверить памяти: в ее янтаре застывают отнюдь не случайные частицы увиденного. А к ним прибавляется – тоже выборочно – что-то из прочитанного. Из какой книги – иногда и не вспомнишь. Остаются детали и факты, которые нужны для памяти.

Сейчас Пекин меняет свое лицо: на нем все больше западно-европейского и американского грима. Строятся новые высотные дома (похожие на те, что привычны и для Венгрии, и для Японии), сносятся старые районы – мне говорили, что, например, Хайдянь, соседствующий с Пекинским университетом, я не узнаю и в нем заблужусь, – проводятся новые автомагистрали и изобретаются хитроумные шоссейные развязки. И это тоже понятно: в Пекине – многолюдно, как и во всей стране. Китай – «тесная» страна (в ней живет больше миллиарда человек).

Если я приехал бы в Пекин, то поскорее постарался забыть бы о его центре, например, об улице Чаньанцзе (нашей Тверской). Но добрался бы до Пекинского университета (говорят, он внешне почти не изменился). Он там, за четырехугольником кирпичных стен, там коттеджи для преподавателей, студенческие общежития и учебные корпуса, а вокруг – зеленые фейерверки кустов и деревьев. И густая маслянистая тень под ними. И тишина. И пруды. И дорожка петляет, сталкивая с тем, что и не замечал: постамент, на нем треножник (колокол), отлитый в такие времена, что и не верится. Медь потемнела, и на ней кое-где – зеленые штрихи плесени.

От университета быстрее добираться и до Ихэюаня – летней резиденции императрицы Цыси. Когда-то я обошел этот парк весь, подгоняемый жадностью глаз и нетерпением любознательности. И зря. Нужно было купить мороженое (у нас оно слаще и сытнее, у китайцев – фруктовый удлиненный кусочек льда, насаженный на палочку) и медленно идти по галерее, незаметно петляющей вдоль берега озера; тень, росписи на потолке (цветы и мифы), неожиданный ракурс пейзажа, возникающий из-за незаметного изгиба галереи, выдох прохлады с озер Ихэюаня.

И пусть вода мутновата, но когда белорозово цветут лотосы, ее почти не замечаешь (да ее почти и не видно) и кажется, что лодка плывет по листьям.

И все-таки в город съездить придется. Ради Гугуна, некогда императорского дворца. Ему 586 с лишним лет. И лучше всего туда прийти ранним летним утром: попрохладнее и людей поменьше. Собственно, Гугун – это комплекс зданий, своего рода соты, каждая ячейка которых – уникальна. Картины и утварь, фарфоровые вазы, каменные и медные звери – духи неба и земли – таблички с пояснениями (от них кругом идет голова) запестрят перед вами. Но самое главное – не этот познавательный калейдоскоп, а нечто другое. Попробуйте остановиться в одном из переходов. И, оставшись в одиночестве, оглянитесь и прислушайтесь: вверху – голубой зрачок неба, вокруг – желтое и красно-коричневое. И гулкая, обступающая тишина. Затягивающаяся петлей.

Лето в Пекине похоже на наше, но жара и духота переносятся тяжелее. Весна ошеломительна взрывами цветенья и скоротечна: словно боится опоздать. Лучше всего – осень: мягкая, теплая, тихая. Зимой морозов, похожих на наши, не бывает, но от ветра, если не наденешь шерстяного свитера, быстро начинаешь поеживаться. Да еще лёссовая пыль в придачу. Китайцы защищаются от нее мелкочаеистыми решетками на окнах, но она и сквозь них просачивается.

Конечно, в Китае не предложат бараньего бока с кашей: блюда, которое предпочитал всем остальным Собакевич. На юге едят морскую рыбу, омаров, крабов, осьминогов. Жуют бетель и грызут сахарный тростник (он считается лакомством). Чаепитие – на первом месте, как, впрочем, и на севере. Лучший черный чай («Учжи» – «Пять пальцев», название горы) разводят на острове Хайнань. Дело вкуса, но особенно хорош он, если его «приправят» жасмином.

Особой популярностью (с севера до юга) пользуются «цзяоцзы» (пельмени). Но мне почему-то кажется, что не было ничего вкуснее лапши с курицей в харчевне Хайдяня или супа «трех ароматов» (прозрачный, почти не заправленный, пахнущий какими-то травами) в ресторане Ихэюаня. Любят китайцы и вкусовые контрасты: например, рыбу в кисло-сладком соусе. К ним можно при-

выкнуть, но не окончательно: для нас привычнее моновкусовая или «нейтральная» еда.

У китайцев существует еще и понятие «нулевой еды»: семечек, орехов и конфет.

Если вы приехали в Китай – не уезжайте оттуда, не побывав в Сучжоу (провинция Цзянсу) и Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Именно о них китайцы говорят: «На небе – рай, на земле Ханчжоу и Сучжоу». Сучжоу – китайская Венеция (говорят, это сравнение принадлежит Марко Поло), вода, сады и парки. И один из них – Шицзылинь – «Львиный лес», в котором собраны камни самой причудливой формы. Сходите и на Тигровый холм: на нем похоронен основатель города Хэ Люй.

Ханчжоу помнится не тем, что там начинается Великий канал (с юга на север), и не тем, что можно плюнуть на изваяние Цин Гуя (его имя – символ предательства). По правде говоря, я не решился это сделать, да и туристы-некитайцы отнюдь не спешили воспользоваться такой возможностью. Ханчжоу нельзя забыть, если обойдешь озеро Сиху и пройдешь по дамбам Бо Цзюйи и Су Ши (Су Дунпо) – по преданию, оба великих поэта споспешествовали, находясь на службе в Ханчжоу, строительству этих «плотин». Нельзя забыть, если подышишь теплым, пахнущим сосной и пихтой, воздухом предгорья и услышишь сплетенные из мягкости и мелодичности голоса ханчжоусских женщин.

Пускаясь в поездку на юг (по собственной инициативе, а не по ведомству туристических компаний), приготовьтесь к тому, что автобус, идущий на железнодорожный вокзал (но и на всякий другой) китайцы привыкли брать штурмом: очередь для них – весьма условное понятие. А на вокзальной площади ищите табличку с номером вашего поезда. Найдя, пристраивайтесь к ждущим. Минут за двадцать до посадки появится служащая (со свистком), и по ее сигналу – а она и поведет вас – пойдете на посадку. Вагоны проводники не открывают до тех пор, пока около них не выстроятся ожидающие. Эти «правила» не касаются пассажиров мягких вагонов: для них предусмотрен специальный зал ожидания. И еще: в поезде не возбраняется курить (предложить попутчику сигаре-

ту – самый естественный поступок; отказ принять ее китайца обижает) и бросать мусор на пол.

Китай не позволяет себя забыть. И даже не Великой стеной (с запада на восток) в 10 тысяч километров и не «Шелковым путем», начинавшемся в Чаньане (нынешний Сиань) и уходившим через Синьцзян, Памир и Среднюю Азию к Средиземному морю.

Китай напоминает о себе изобретением компаса со стрелкой (в эпоху Сун – 960–1279 гг.) и черного пороха (в VII веке – в эпоху Тан). Он – «виновник» появления бумаги (самые древние ее образцы датируются II в. до н.э.) и книгопечатания (в XIII в. Ван Чжэнь «придумал» подвижные литеры и вращающуюся наборную кассу). Самая древняя карта звездного неба (дуньхуанская) была составлена в 949 году, а в 1199 году китайские астрономы установили, что год состоит из 365,2425 суток.

А пекинская опера с ее четкой символикой масок (амплуа), пения и невербального поведения? О ней – не расскажешь, ее нужно видеть и слышать. А живопись? Сунского времени, например. У меня к ней – «влеченье, род недуга». И вы тоже заразитесь, если увидите (в Гугуне) «Деревню на высокой горе» и «Валуны на бескрайней равнине» кисти По Си или «Горы и сосны под снегом» Ма Юаня.

Еще живы и китайские традиционные праздники – праздник Весны (в бытность Новый год), приуроченный к первому дню первой луны (конец января – начало февраля). Накануне его варят кашу («восьмисортную»), смешивая клейкий и неклейкий рис, пшено, красные бобы, гаолян, финики, ядра грецких орехов и арахиса и, тем самым, намекая богам Неба и Земли, что уповают на их милость и ждут хорошего урожая. Не забывают и о боге домашнего очага Цзаоване. Ему мажут рот сахаром: пусть его речи станут сладкими. Вывешивают картинки-пожеланья счастья: гонки лодок-драконов, смеющийся младенец с карпом в руках. В полночь начинают рваться хлопушки (ими когда-то отгоняли от праздника духов тьмы) и рвутся до самого утра.

В первый день праздника Весны (Нового года) принято навещать родственников и поздравлять их. А вот «лунные пряники»

(увидев их, европейцы обычно спрашивают: «Это что? Пирожные?») напоминают о Чжунцю – празднике Середины осени. Его отмечают 15 числа восьмого месяца. «Пряники» пекут из пшеничной муки тонкого помола, добавляя в нее, конечно, масло, сахар, орехи и пряности. Когда-то этими подарками задабривали бога Луны. Но и сейчас их символика не утеряна: они напоминают (как и свет полной луны) о родном доме и обо всех отсутствующих в этот час.

Вряд ли каждый китаец знает, что праздник Юаньсяо (Праздник фонарей) возник в первом веке нашей эры в эпоху Хань, при императоре Минди. Он был верующим и посему повелел подданным в пятнадцатый день первой луны зажигать лампы перед «иконами» Будды. Со временем о смысле указа императора, видимо, забыли, но продолжали в этот день развешивать фонари на улицах. В танские времена (VII век) власти, зная о популярности праздника, разрешали гулять всю ночь напролет.

Фонари изготавливают из соломки, шелка, бамбука. Они настолько разнообразны (хочется сказать: хитроумны), что кажутся приснившимися. Особенно притягивают фонари-загадки (словесные или изобразительные). В разгадках состязаются. Я тоже пытался (про себя), но в победители не вышел.

А теперь, в завершение, о том, что не менее важно, чем вышеизложенное – о китайском психотипе или, иначе говоря, о тех глубинных установках и ценностях, которыми руководствуются китайцы и которые составляют основу их этнического характера.

Опираясь на данные, приводимые К. Тертицким, можно считать, что в основе китайского этнотипа лежат холистические установки (отношение к миру как к живому организму).

Китайцы в основном ориентированы на других, рассчитывая на их помощь, и на взаимные обязательства (экзоцентризм), а американцы, например, ориентированы в основном на самих себя (эндоцентризм). Китайцы особенно чувствительны к «частной морали» (семейные и клановые обязательства) и индифферентны к «морали других». Особенно важной является установка на сохранение «лица» (престижа) – и своего, и чужого. Она позволяет свести к минимуму конфликты в межличностных отношениях и гармонизи-

ровать их. «Лицо» можно не только потерять, но его можно обменивать, накапливать и продавать. По мнению самих китайцев, они – усердны и старательны, экономны и бережливы, практичны и консервативны, гуманны и послушны, деятельны и умелы, застенчивы и терпимы.

Литература

Дикаров А. Д., Лукин А.В. Три путешествия по Китаю. М., 1989.

Желоховцев А. Н. «Культурная революция» с близкого расстояния. Записки очевидца. М., 1973.

Рахманин О. Из китайских блокнотов. О культуре, традициях, обычаях Китая. М., 1982.

Тертицкий К. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. Ч. 1. М., 1994.

IV. Несколько «букв» французского невербального алфавита (небольшое дополнение к §3)

Этот алфавит не похож на обычный. Если форма буквы естественного языка постоянна (А всегда равно А), то форма буквы невербального «алфавита» или, лучше сказать, языка – текуча, существуя в виде микро- и макродвижений, составляющих то, что мы называем мимикой и жестикulyацией. А позы? Это тоже невербальные «буквы», но застывшие на какой-то промежуток времени.

Невербальные «буквы» своего родного «алфавита» мы выучиваем неосознанно. И очень рано – в детстве. Узнаем их и умеем складывать из них высказывание, даже не задумываясь, как это делаем. Легко и безошибочно читаем и понимаем невербальную речь других. И зачастую не задумываемся над тем, что «буквы» нашего невербального «алфавита» и «буквы» чужого текучи по-разному, что у них разные смыслы и что мы можем даже не узнать чужие «буквы», а если и узнаем, то или ошибемся в истолковании, или перетолкуем на свой лад.

Вряд ли узнаете (этой невербальной «буквы» в нашем невербальном «алфавите» вообще нет) и поймете, что означает такой жест, когда француз указательным пальцем слегка оттягивает нижнее веко (правого) глаза, давая понять, что один из собеседников слишком заговорился, стал явно говорить неправду (лгать). Правда, один из собеседников может воспользоваться в этом случае и вербальной поддержкой, сказав: «C'est faux!» («Это неправда, ложь!»), и тогда (если вы знаете французский язык) все станет на свои места.

Еще несколько примеров: 1) тыльной стороной кисти руки (обычно правой) проводят несколько раз по щеке (от уха к подбородку и обратно), 2) обеими руками почесывают (поскребывают) ребра с боков, 3) соединив вместе указательный и большой пальцы (правой) руки и поднеся их к губам, ладонь поворачивают в сторону говорящего, 4) правую руку поднимают к виску, пальцы прижимают к ладони, а затем несколько раз сжимают и разжимают их, 5) большой палец (левой) руки опускают вниз, остальные – прижимают к ладони, 6) (правая) рука, чуть согнутая в локте, опущена вниз, указательный палец вытянут и им энергично помахивают из стороны в сторону, 7) кистями рук, находящимися на уровне пояса, помахивают справа налево и слева направо, 8) кончик большого пальца засовывают под верхние зубы, одновременно «автор жеста» слегка приседает, изображая на лице страх.

Первый жест указывает на то, что один из беседующих надолел своими разговорами всем остальным (конечно, этот жест используется скрытно от того, кому он адресован). Русским такая невербальная «буква» непонятна (она для них – лакуна, смысловая пустота, коммуникативная загадка), так как в этой ситуации русские или пожимают плечами, или начинают постукивать пальцами по столу, что однозначно прочитывается и понимается: «Надоело», «И когда он кончит говорить?!». Смысл второго жеста: мне очень смешно (русские, скорее всего, так и скажут), смысл третьего – одобрение, и весьма положительное, – тех или иных слов или того или иного поступка. Для русских эта невербальная

«буква» пуста и непривычна: они или выразят свое одобрение словесно («Хорошо!», «Отлично!»), или используют в этом случае другой жест: четыре пальца правой руки прижаты к ладони, большой палец поднят вверх (сама рука чуть согнута и вытянута вперед). Четвертый жест также непривычен для русских: он используется в тех случаях, когда хотят привлечь внимание какого-либо человека, негромко окликая его. Русские в этом случае используют другие «буквы»: подняв правую руку на уровень головы, они помахивают кистью руки слева направо и справа налево (причем ладонь «направлена» в сторону подзываемого). Они могут использовать и жест, аналогичный французскому: указательный палец правой руки, согнутой в локте, поднят вверх, чуть выше уровня головы, остальные пальцы прижаты к ладони, которая направлена в сторону того, кому адресован жест. И французы, и русские используют, как правило, этот жест в тех случаях, когда нужно подзвать кого-либо или обратить на себя внимание, но нельзя это сделать вслух. Пятый жест (изначально – жест, приговаривающий гладиатора к смерти) указывает на то, что кому-то из участников беседы кое-что не нравится («Не так!», «Это плохо!»). Пятая «буква» в равной мере и экзотична, и архаична для русских, привыкших в этом случае давать вербальную оценку или использовать «гримасу недовольства», сопровождаемую покачиванием головы в знак отрицания.

Шестой жест – это жест, выражающий несогласие или даже запрет. Русский эквивалент совпадает с французской невербальной «буквой» лишь частично: русские могут выразить несогласие также невербально, но используя иную «букву» на карте движений: покачивание головой из стороны в сторону в знак отрицания. Запрет русскими, скорее всего, будет выражен вербально.

Седьмой жест, с помощью которого французы выражают сомнение в достоверности услышанного (в достоверности сведений), а этот жест сопровождается и выражением неуверенности на лице, также непонятен русским: они наверняка используют в этом случае жест покачивания головой, подкрепляя его вербально.

Восьмой французский жест не имеет, по-видимому, никаких аналогов в русском неречевом общении, особенно среди учащихся, ибо означает: а) кто-то не выдержал экзамена, так как ничего не знал, б) собеседник абсолютно некомпетентен. Отметим также, что дети с помощью этого жеста подчеркивают свой страх, не желая что-нибудь делать или слушать.

Конечно, не все невербальные «буквы» столь неопознаваемы в смысловом отношении. Если вы увидите, что кто-то поднял (левую) руку, согнув ее в локте, выше уровня головы и отмахивается кистью руки, тыльная сторона которой обращена к собеседнику, то вы почти наверняка поймете, что этим жестом подчеркивают, что не нуждаются в совете или хотят подождать с решением. Вполне прозрачной и знакомой оказывается ситуация, в которой кто-то прикладывает указательный палец к губам, хотя и не подушечкой, а боком: «Ничего не говорите. Молчите. Храните тайну». И полностью узнаваемыми и понятными оказываются те ситуации, в которых мужчина ударяет сжатыми в кулак пальцами правой руки о ладонь левой («решено окончательно и бесповоротно»), или когда энергичножимают плечами (выражение сомнения, неудовольствия или полного безразличия), или когда кто-то стоит лицом к дороге (чуть боком), а указательный (или большой) палец его правой поднятой на уровень плеча руки перпендикулярно направлен к дороге (просьба остановиться, автостоп). Одинаково и нами, и французами прочитывается и понимается жест подзывания такси: правая или левая рука поднята вверх, большой палец также поднят вверх, остальные прижаты к ладони. Так же французские учащиеся «просят слова». И почти одинаково с русскими, которые «поднимают руку» – обычно правую – чуть выше уровня плеча, но не сжимая пальцев. И, конечно же, одинаково понимается V-жест (жест победы: указательным и средним пальцем правой или левой руки, поднятой вверх, имитируют ее форму) или жест приветствия на расстоянии: согнутая в локте, правая рука поднята на уровень головы, пальцы сжаты в кулак.

Полуопознаваемым и полупонимаемым русскими можно считать французский жест, указывающий на то, что кому-то очень

хочется, чтобы сбылись пожелания собеседника: правая рука поднята выше уровня головы, указательный и средний пальцы перекрещиваются. Это полуузнавание и полупонимание объясняется тем, что русскими перекрещивание указательного и среднего пальцев хотя и может пониматься в аналогичном смысле (по-видимому, это все-таки детский и подростковый жест, почти не используемый взрослыми, жест-оберег, жест от сглаза), сам жест занимает на русской карте движений иное положение: пальцы перекрещивают на уровне пояса. И если это стараются сделать незаметно, тайком, то отнюдь не желая, как это желают французы, чтобы пожелания собеседника не сбылись.

§12. Форматы понимания: истины для себя и ложь для других?

ПЕНА ХИМЕРЫ – именно так, иронически безнадежно, оценивают людей китайцы (или, по крайней мере, так судили китайцы, жившие в стародавние времена). Соглашаться с ними или не соглашаться – это другой вопрос, решение которого зависит от ценностных установок и конфессиональных пристрастий каждого. Но одно несомненно: она, пена химеры, умеет размышлять и затевать такие серьезные игры, в сути которых пытался разобраться, например, Й. Хейзинга. Словом, она умеет складываться в самые разнообразные узоры, переплетающие организм этнической культуры, а, точнее говоря, являясь ее неотъемлемой частью. В частности, это могут быть сакральные узоры, вышитые, например, Лаоцзы или Чжуанцзы, или профанные узоры «Китайского эроса» (М., 1993), с которыми можно было бы совместить, но с натяжкой, орнаменты «Русского эроса, или философии любви в России» (М., 1991). И, видимо, потому с натяжкой, что наше – будем считать его российским – отношение к эросу (любви, сексу) можно было бы назвать – при всей откровенности используемой лексики – парафрастическим (см. в связи с этим «Литературное обозрение», № 11, 1991 г., в котором представлена русская

потаенная эротическая литература). А отношение к эросу (любви, сексу) китайцев – технологическим: о нем можно судить, прочитав «Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мей» (М., 1993) в купе с «Дао любви» Чжан Чжунлани (М., 1991).

Об одном из таких профанных узоров рассказывается и в «Книге дворцовых интриг. Евнухи у кормила власти в Китае» (составители Д. Н. Воскресенский и В. Н. Усов. М., 2002; см. также книгу В. Н. Усова «Евнухи в Китае», М., 2000).

Обсуждать стилистические достоинства – их немало – и недостатки – их немного – «Книги...» я не буду, памятуя о небезызвестном правиле: «Меня не интересует, как вы играете – хорошо или плохо; важно, чтобы играли верно». Могу лишь сказать, что составители «сыграли» эту книгу на совесть.

О ком же и о чем она рассказывает? О событиях, весьма непривычных для нас, и о людях странно-извилистой судьбы, подталкиваемой завистью, тщеславием и честолюбием. Об игре случая и расчета, возвышении из грязи да в князи и падении, об однообразии лихорадок стяжания, служения и услужения. Казалось бы, что и в наших палестинах нетрудно отыскать нечто похожее. Отыскать-то – отыщем, но такими лихорадками болели у нас другие люди. Назовем их целостными, противопоставляя тем самым ущербным, кастратам по своей воле или поневоле, служившим верой, правдой и неправдой, корыстно и бескорыстно, (полу)почитая и (полу)ненавидя тех, от кого они зависели: китайский императорский двор и всех остальных власть имущих. Но полуненавидели или ненавидели они потаенно. Психология этой скрываемой вражды превосходно описана Ю. Н. Тыняновым в «Смерти Вазир-Мухтара» (и, пожалуй, больше никем). Китайские евнухи отнюдь не поступали так, как это думалось А. К. Толстому:

«Взбунтовались кастраты...

Входят в папины палаты:

«Отчего мы не женаты?

Чем мы виноваты?»

(Полное собр. соч. гр. А. К. Толстого. Т. 1, СПб., 1907, 489).

Китайские евнухи старались – не все, конечно, и не всем это удавалось – компенсировать свою ущербность паутиной интриг, в которой запутывались власть имущие, подкупками и лестью, позволявшими им подниматься по иерархической лестнице, выгодами унижения и подбострастия перед женами и наложницами и императора, и окружавшей его «свиты». Если помнить, что евнухи воспитывали наследника престола, то вполне можно судить о далеко идущих и небескорыстных последствиях такого педагогического «импринтинга».

Обо всем этом и рассказывается в книге, составленной Д. Н. Воскресенским и В. Н. Усовым, но рассказывается по-разному: или от себя, в полубеллетристической манере («Придворные скопцы в истории и литературе Китая» – этот раздел написан Д. Н. Воскресенским; «Евнухи при дворе китайских императоров» – этот раздел написан В. Н. Усовым), или в манере беллетристической – фрагменты из романов XVII века («Сны темные и светлые, мир предостерегающие» Го Нина, «Полуночник Вэйян, или подстилка из плоти» Ли Юя), а также «Рассказы из дворцовой жизни во времена маньчжурской династии Цин. Конец XIX – начало XX века», переведенные Д. Н. Воскресенским.

Рискну дать в очень сжатой форме представление об этих двух разделах. Евнухи появились в Китае в незапамятные времена: 3–4 тысячи лет тому назад, но особое влияние приобрели в эпоху династии Мин (1368–1644) и в эпоху династии Цин (1644–1911). Считается, что в начале XX века в императорском дворце несли службу три тысячи евнухов. К кастратам особенно благоволила вдовствующая императрица Цыси (1835–1908), фигура легендарная, но отнюдь не столь добродетельно-благостная, как ее пытается представить, например, Перл Бак в романе «Императрица» (М., 1994). У нее было одно «золотое» правило: «Кто мне хоть раз испортит настроение, тому я его испорчу на всю жизнь». А причин его испортить оказывалось немало: евнухи были не только военачальниками (как знаменитый флотоводец Чжэн Хэ) и чиновниками, но и «хранителями очага» в императорском доме: его бытовой уклад держался на их плечах. Поэтому за императрицей все-

гда носили мешок с бамбуковыми палками: ими и били кастратов за малые и большие прегрешения. Если евнух попадался на воровстве, ему отрубали голову. Правда, не всегда и не сразу, учитывали также, к какой касте – высшей или низшей – евнухов он принадлежал: например, после смерти евнуха Лю Цзиня (его четвертовали), – фаворита минского императора Уцзуна – собственность скопца оценили в 251583600 лянов (лян~37 г.). Нашли также драгоценные камни, два комплекта доспехов из чистого серебра, 500 золотых тарелок, 3000 золотых колец и брошей с 3062 поясами, также украшенными многоценными камнями. Состояние любимого евнуха Цыси Ли Ляньбина оценивалось английскими банкирами в два миллиона фунтов стерлингов.

Но не только об этом рассказывается в «Книге...». Читая ее, можно узнать – и это невеселые страницы – о способах кастрации и самокастрации, о причинах хранения утраченной «драгоценности», пытках и наказаниях, которыми также не брезговали евнухи и от которых и их мог спасти лишь случай, об их актерских и врачебных обязанностях, о том, как они женились и как их хоронили. И даже о том, о чем редко говорят – какие психологические причины могли подталкивать того или иного человека к самокастрации или мужеложеству («южному поветрию»). Например, в повести Ли Юя «Мужчина, ставший матерью» один из ее героев, Сюй Минвэй, объясняет свое отвращение к женщинам не только тем, что «...их грудь вздымается бугром, а зад похож на свисающую опухоль...», что «...все в них зыбко и неопределенно» (всего таких отвращающих причин – семь), но и тем, что у мужчин «...все... на виду, все естественно с головы до пят».

И в заключение вот о чем: если китайцы позволяли (и позволяют?) себе говорить о науке тела, его магии и мистике, об иерогамии, то мы позволяли и позволяем себе говорить – в беллетристических и небеллетристических сочинениях – об образе тела как образе лжи и зла эгоизма, о том, что «половая любовь не является средством или орудием исторических целей; она не служит человеческому роду...» и если «...для человека как животного естественно неограниченное удовлетворение своей половой потреб-

ности посредством известного физиологического действия...», то «человек как существо нравственное находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его» (Владимир Соловьев). Наипервейшая цель человека, считал автор «Смысла любви», заключается в нахождении себя в истине. И где-то в глубине подсознания мы соглашаемся с этим. Китайцы спорят с нами: для них истинным может быть и телесное.

§13. Цепочка реплик относительно форматов понимания (заметки антимавена)

1. Начну с того, о чем когда-то говорил Арон Абрамович Брудный: о переходе художественных произведений (см. в связи с этим работы А. А. Богатырёва) в разряд классических.

Этот переход крайне интересен и важен с исследовательской точки зрения. Одним из примеров такого перехода, описанного, например, А. Долининым («История, одетая в роман». М., 1988), может служить Вальтер Скотт. Его художественные произведения стали переходить в разряд классических в конце XIX – начале XX веков. И даже больше того: они становились детской классикой. На мой взгляд, рассмотрение такого рода переходов имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемым проблемам, ибо эти переходы позволяют, если к ним внимательно присмотримся, объяснить изменение наших ориентаций в отношении тех или иных текстов. Как известно, существуют три типа их восприятия: смысловое, семантическое и когнитивное (Г. И. Богин). Если семантический тип восприятия текста предполагает понимание лишь лексических единиц, а когнитивный – текстовых знаний, то смысловой тип восприятия предполагает понимание всего того, что стоит за словами, понятиями и образами, понимание некоего МЕГАСМЫСЛА, понимание той реальной и нереальной (сотворенной) действительности, о которой говорил Михаил Михайлович Бахтин.

По-видимому, превращение вальтер-скоттовских художественных произведений в детскую классику является сигналом того,

что в читательской среде произошла переориентация сознания, что все три типа восприятия текста и, самое главное, смысловой тип, оказываются не диалогическими и воспринимаются как уставшие. Иными словами, диалог даже на уровне семантическом и когнитивном оказывается исчерпанным/пустым. Его роль становится периферийной, пропедевтической, а смысловой тип восприятия текста – обучающим и воспроизводящим отрефлексиروанный тип сознания – сознание «классическое».

Изучение меры переориентации сознания и степени усталости типов восприятия (и самое главное – смыслового) полезно не только в историко-литературном отношении. Оно полезно как ориентир и в современном калейдоскопе состояний сознания – противоречивых, противодействующих и противоборствующих, гуманных и жестоких, замаскированных и откровенных, авторитарных и демократичных – существующих, например, в отечественной художественной литературе. Даже предварительное сопоставление этих состояний показывает, что это отнюдь не плюралистические и толерантные, но нетерпимые и противоборствующие состояния. Это равнонаправленный и разнокачественный, мутантный, метисированный мир (мир модульных людей), но он дает возможность наблюдать за изменением законов поэтической биологии, о которой говорил Владислав Ходасевич, за изменением в типе смыслового восприятия, за его усталостью.

Например, роман Хаксли «О дивный новый мир» и оруэлловский «1984» по сравнению с замятинским «Мы» оказываются уставшими в силу того, что варьируют частности «Мы», причем на фоне воскресших («Чевенгур» А. Платонова) или воскресающих («Ночевала тучка золотая» А. Приставкина и «Черные камни» А. Жигулина) состояний сознания. На этом фоне и особенно в сопоставлении с замятинским романом (тоже воскресшим состоянием сознания) смыслы романов Хаксли и Оруэлла оказываются смыслами-парафразами, редуцированными смыслами, сохраняющими, однако, нередуцированность языковой/речевой оболочки.

Изучение такого мира, а это, прежде всего, мир смыслового восприятия и диалогизирующего сознания, возможно только при

наличии определенных понятийных схем. Первая схема – это схема М. М. Бахтина: говорящий – слушающий то, о чем/о ком говорится («герой»). Вторая схема – это схема Николая Александровича Рубакина: автор – читатель – текст. Эта схема-триада, а она и мощнее, и операциональнее бахтинской, «предписывает» рассматривать отношения в ней как полилогические и позволяет экспериментально проверять значимость и соотносимость каждого из ее элементов. Но все больше накапливается доказательств и того, что метафоричность таких бахтинских категорий, как субъектность, объектность, монолог, диалог, полифоничность, синхрония и диахрония является кажущейся метафоричностью: оказывается, что эти категории значимы (хотя и по-своему) для обыденного сознания и эффективны для изучения взаимодействия и в рамках бахтинской триады.

И вот еще на что я хотел бы обратить ваше внимание. При смысловом диалогизирующем типе восприятия важно усвоение (интериоризация) не когнитивных или когнитивных структур, а нечто большего: тех фундаментальных категорий (существующих, естественно, в метаболической оболочке), о которых говорил А. А. Брудный – категорий, отсылающих к размышлениям о жизни и смерти, надежде и горе, радости и боли. Именно по этим орбитам и вращаются человеческие вопросы в этом типе восприятия/сознания.

Конечно, это сознание диалогично. Именно в том смысле, который я приписываю диалогу: это взаимное согласование двух, по крайней мере, сознаний – согласование, при котором происходит взаимная или односторонняя сдача и/или завоевание позиций. Такое понимание диалога позволяет достаточно точно объяснять смысловые метаморфозы с текстами, происходящими в процессе их восприятия (расщепление на ряд читательских проекций), а также роль культуральной (этноко-специфической) оболочки, без которой они не могут восприниматься как целостно-аксиологические единичности. Но если таков характер текстов, а они есть не что иное, как субституты культуры, то не воспринимается ли таким образом и сама культура?

На этот вопрос я могу ответить лишь утвердительно. Да, я рассматриваю культуру в качестве взаимодействующей и изменяющейся суммы и материального, и нематериального, но только с одним условием: культура – это прежде всего то, что не тиражируется и не воспроизводится «на конвейере».

Можно, конечно, ссылаться на данные археологии, указывающие именно на тиражируемость культуральных феноменов, но, по-моему, такие ссылки не вполне убедительны (ибо тиражируются лишь навыки/умения, но не их результаты/вещи – и материальные, и духовные). Они, эти ссылки, вызваны нашей абберрацией, установкой, диктуемой нашими цивилизационными привычками и разрешающей рассматривать ручное производство и «ручное творчество» лишь как реликты в потоке тиражируемого.

В ментальной и нементальной «технологии» древних и средневековых культур всегда существовали те или иные люфты, зазоры, позволяющие даже каноническим «продуктам» не совпадать между собой. К тому же иными были и объемы этого квазитиражирования (см., в частности, «Имя розы» У. Эко). Таким образом, я – вслед за Львом Николаевичем Гумилевым – рассматриваю культуру как сумму персистентной/резистентной технологии. Эвристичен ли такой подход в целом? Думаю, да. Эвристичен ли он в частных случаях? Полагаю, что тоже.

Напомню вам в связи с этим об обсуждавшихся в прессе причинах столкновения между армянами и азербайджанцами. Не буду говорить, что эти обсуждения были в большинстве случаев сугубо социологизированными. Укажу лишь на их непрозрачность для читателей и, самое главное, для самих журналистов. Степень этой непрозрачности доходила до того, что журналисты стали полагать невозможным дальнейшее развитие армяно-азербайджанских конфликтов: по их мнению, землетрясение вывело проблему этнических отношений за пределы насущной и актуальной. Я думаю, что такая точка зрения свидетельствует о непонимании того, что не только среда (ландшафт) важна (важен) для выживания этноса, но также и те этнико-культуральные различия, которые характерны для армян и азербайджанцев. Короче говоря, важна

та лингвокультуральная оболочка, которая обволакивает эти два этноса.

К сожалению, структура и характер такого рода оболочек изучены в минимальной степени. Но можно предположить, что одной из причин этого и других этнических конфликтов является то состояние, которое следует классифицировать как состояние культуральной витрификации: мы слишком ускоряли культурное развитие и центральной России, и всех остальных регионов страны, мы слишком быстро перевели культуру из кристаллического состояния в аморфное, хотя это нужно было делать (а нужно ли?) медленно. И теперь неизбежен обратный и болезненный процесс – процесс культуральной девитрификации. Нам придется серьезно разбираться и в этих процессах, и в тех состояниях сознания, которые можно было бы назвать анакультурозом и гипокультурозом (см. об этом подробнее: Ю. А. Сорокин. Этноконфликт: модель и ее составляющие // Ю. А. Сорокин. Этническая конфликтология (теоретические и экспериментальные фрагменты). М., 2007).

Именно в таких состояниях сознания находятся сейчас наши этнические (локальные, по Э. С. Маркаряну) культуры. Выход из этих состояний возможен только один – изучение не только этнических первичных и вторичных знаковых систем, но и всего бытового, вербального и невербального этнического поведения и нахождения в нем узловых болезненных точек сознания, нахождения способов согласования сознаний и их примирения.

Вот и все, что я хотел сказать.

2. Но позвольте добавить и следующее. Соглашаясь с тем, что говорил В. С. Библер о художественном произведении, хочу добавить одну мелкую и, может быть, несущественную «деталь»: смысловое понимание художественного произведения или, если угодно, вживание в него есть, прежде всего, индивидуальное или микрогрупповое понимание, или вживание, ход которого следует проверять экспериментально. Лишь такой подход позволяет точно и беспристрастно судить и о способах вживания в текст, и о структуре формирования образа текста.

3. Мое определение культуры, насколько я понимаю, следует рассматривать как онтологическое. Но, конечно, возможно и ее

гносеологическое определение/истолкование. Важно, чтобы эти определения были взаимодополнительны.

4. И еще одна реплика. Считается – вслед за М. М. Бахтиным, – что культура не имеет территории. Не получается ли опять так, что мы берем у М. М. Бахтина лишь то, что нам нужно? Но именно с этим «нужным» я не могу согласиться. На мой взгляд, культуры без территории не бывает. Культура связана с территорией – реальной и мыслимой – через ландшафтные ниши, этническую ментальность и сумму традиций и этнокультуральных привычек.

5. Диалог – это некоторое конфликтное состояние, и оно должно «вести» (в идеале!) к согласованию/примирению сознаний. Но согласование/примирение сознаний – это как раз и есть процесс и сдачи, и принятия позиций. С моей точки зрения, две этнокультуральные единичности (монады) не могут диалогизировать (в силу своей «монадности»), а если и могут, то лишь взаимодействуя и, тем самым, добиваясь согласия между собой (хотя бы по основным спорным вопросам).

Что мы должны были, например, делать, когда столкнулись со следующей, описанной в прессе, ситуацией? – Армяне стали протестовать против принятия в неармянские семьи детей погибших, считая, что этим разрушается их этническая целостность.

Повторяю: что же в этой ситуации оставалось делать?

Напрашивались два вывода: или оставаться на нейтральной по форме, но оппозиционной по содержанию позиции, или принять чужую точку зрения и, тем самым, измениться (пусть и незначительно) самим.

Я думаю, что именно принятие чужого/чуждого и обеспечивает подлинную результативность диалога-взаимодействия. Именно в ходе согласования мы и начинаем понимать друг друга. Так что диалог – это не только «разговор» двух уникальностей, но и молчаливый выбор, и бессловесное отступление, которое вольно или невольно дает представление и о нас, и о других, о нашем и чужом бытовом сознании. Изучение этого сознания необходимо не

только в прагматическом, но и в теоретическом отношении – необходимо для построения моделей культуры и моделей толерантного поведения.

§14. Можно ли понять форматы непонимания?

1. Очевидно, следует считать, что на этот вопрос последует положительный ответ, если согласиться, что такой же ответ последует и на вопрос: «Можно ли понять форматы понимания?» (см. в связи с этим работы Г. И. Богина). И все-таки, что такое форматы непонимания? По-видимому, их следует истолковывать следующим образом: это когнитивно-когнитивные (и аффективно-эмотивные) деструкции/сбои «в тексте чувственного мира» (Мерло-Понти 1999, 64), возникающие в процессе его восприятия, понимания и оценки носителями того или иного языка/культуры. Это деструкции/сбои в перцептивной грамматике (и, в частности, в «перцептивном синтаксисе» – Мерло-Понти 1999, 65) «чувственного» коммуниката, приобретающего, тем самым, лакунизированный характер.

2. Форматы непонимания – неотъемлемые модусы существования речевых поступков, совмещающих в себе и рефлексии, и реакцию (действие). При выявлении структуры этих поступков или, иными словами, структуры речевого и неречевого поведения целесообразно, по-видимому, опираться на следующую связку понятий: СТРАТЕГИЯ–СТРАТЕГЕМЫ–ПОСТУПКИ/ПРИЕМЫ–ЛОГОСЕМЫ, которые и служат предметами исследовательского анализа.

3. Личность есть не что иное, как совокупность «чувственных» поступков, некоторая отдельность со специфической вербальной и невербальной характеристикой/комбинаторикой. Если для Г. И. Богина и Ю. Н. Караулова языковая личность является данностью, исчерпывающей себя своими вербализмами и существующей лишь в языке и с помощью языка стремящейся канонизироваться/вписаться в правила предзаданного бытия, то для меня языковая личность суть нецельная личность: часть личности семиотической. Именно в отношении семиотической личности допустимо утвер-

ждать, что она управляется кооперационными архетипами, констеллирующими «натуральный ряд» отдельностей/единичностей в такое супрацелое, которое и логосично, и антилогосично, но, прежде всего, бифуркационно. Иначе говоря, семиотическая личность есть неравновесная/бифуркационная личность, существующая в двух, по крайней мере, средах – в канонизированной вербальной и невербальной среде и в неканонизированной вербальной и невербальной среде (бифуркационной среде), причем каждой из них присущи свои культуральные апперцептивы (например, диетони́мы как один из видов аксиологического исчисления).

4. В статье «О некоторых вопросах работы мозга человека как семантического устройства» Н. И. Жинкин писал: «При усвоении языка вступает в действие обратная связь особого типа, которую можно назвать перцептивной. <...> Развитие речи – это процесс осмысления бессмысленного. Обратная связь состоит в том, что в процессе коммуникации... «уравниваются» перцептивная и языковая информации обоих партнеров; они начинают понимать друг друга» (Жинкин 1968, 128). Если согласиться с этим, а именно с «уравниванием» информации, то существование форматов непонимания оказывается невозможным, ибо «уравнивание»/равновесность (информации) и есть то, что допустимо квалифицировать как понимание. Но трактуемое таким образом понимание является не чем иным, как иллюзией, так как в вербальное и невербальное поведение инкорпорирована установка на асимптотическую конфликтность, которая подпитывается неизбежной неравновесностью/неравномо́щностью семиотического опыта общающихся (см. в связи с этим: Борисова 1997; Рафикова 1999). Следует также учитывать, что перцептивная и языковая информация – это информация о событиях/ситуациях/сюжетах, характеризующихся той или иной степенью денотативной (сигнификативной) прозрачности или непрозрачности для общающихся (возможен и денотативный (сигнификативный) склероз коммуникантов). В таком случае существование форматов непонимания оказывается неизбежным из-за неуравненности семиотического опыта продуциентов и реципиентов, для которых эти форматы являются столь же «естественной средой» существования, сколь и форматы непонимания.

5. Форматы непонимания – это «афатические» события/ситуации/сюжеты, зоны дефектов (см.: Жинкин 1968, 126–127), не позволяющие составляющим этих событий/ситуаций/сюжетов складываться в нарративную целостность.

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального исследования)

В рамках экспериментальных исследований, ориентированных на изучение смыслового восприятия вербальной продукции как характеризующего специфическую тактику этого восприятия, его индивидуально-идиолектный профиль наряду с групповыми топологическими свойствами, был проведен эксперимент, в котором в качестве стимульного материала использовалось двадцать паремий (под это понятие мы подводим и пословицы, и поговорки, и фразеологические обороты, не принимая в расчет их структурной схемы (о ней см.: Пермяков 1988), ибо в данном случае нас интересовала роль ее смысловых составляющих.

Список этих паремий был следующим:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) сидеть на пище святого
Антония, | 11) зарубить себе на носу, |
| 2) бросать камешки в огород, | 12) хватать звезды с неба, |
| 3) темна вода во облацех, | 13) иголку негде воткнуть, |
| 4) выводить на чистую воду, | 14) как за язык подвешен, |
| 5) знать, где раки зимуют, | 15) не класть охулки на руку, |
| 6) ходить вокруг да около, | 16) куда Макар телят не гонял, |
| 7) сухая ложка рот дерет, | 17) разверзлись хляби небесные, |
| 8) держать нос по ветру, | 18) разводить турусы на колесах, |
| 9) морковкино заговенье, | 19) такой сякой намазанный, |
| 10) зарываться талант в землю, | 20) на обухе рожь молоть. |

Вышеприведенные паремии, отобранные из фразеологических словарей А. М. Молоткова и В. И. Даля (Молотков 1967, Даль 1882), предъявлялись (в случайном порядке) студентам (31 юноша, 25 девушек, филологи и математики) с просьбой описать смысл каж-

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

дой из паремии – развернуто или в такой же «афористической» форме. Ии. предоставлялась и возможность отказа от ответа.

В юношеской подгруппе у девяти человек, а в женской лишь у восьми человек не наблюдалось отказа от интерпретации паремий (характер и качество истолкований будут рассмотрены ниже). Во всех остальных случаях отказы от ответов распределились следующим, представленным в таблицах №№1, 2, образом:

Таблица №1 (подгруппа юношей)

Испытуемые	№№ паремий	Испытуемые	№№ паремий
1.	5,9	12.	3,9,15,18
2.	1,7,9,14,15,20	13.	15,18
3.	3,9	14.	1,9,14,15,18
4.	15,20	15.	14
5.	18,20	16.	9,15
6.	1,3,9,15,18,19,20	17.	9,15
7.	3,15,18,20	18.	9,15,19
8.	2,3,10	19.	5
9.	18	20.	15,18,19
10.	15	21.	9
11.	9	22.	3,7,15

Таблица №2 (подгруппа девушек)

Испытуемые	№№ паремий	Испытуемые	№№ паремий
1.	10,15	10.	3,14,15,16,18,20
2.	9	11.	7,19,20
3.	7,9,15,18,20	12.	3,7,13,15,16,17,19
4.	3,15,18,20	13.	3,9,15,19
5.	9,15,18	14.	3,9,15,17,18,19
6.	9	15.	1,3,7,9,15,16,17,18,20
7.	3,14,15,18,19,20	16.	7,9,14,17,18
8.	1,3,7,9,15,17,18,20	17.	1,3,7,10,14,15,18,19,20
9.	1,9,15		

Итак, в юношеской подгруппе отказы распределились следующим образом: шесть человек отказались истолковать одну паремию, семь человек – две паремии, четыре – три паремии, два человека – четыре паремии и три человека соответственно пять, шесть и семь паремий.

В подгруппе девушек распределение отказов оказалось таким: у двух человек – один отказ, у одного человека – два отказа, у трех – три, у двух – четыре, у двух – пять, у трех – шесть, у одного – семь, у одного – восемь, у двух – девять.

Исходя из этих формальных признаков, можно, по-видимому, сделать следующий вывод: в подгруппе девушек глубина отказов (от одного до девяти), свидетельствующая об интерпретационном пределе подгруппы, больше, чем в подгруппе юношей (от одного до семи отказов). Иными словами, эти подгруппы неравнозначны в интерпретационном отношении: интерпретационный предел у подгруппы юношей выше, чем у подгруппы девушек.

По своему характеру цепочки отказов почти одинаковы: а) юношеская подгруппа – 1, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20; б) подгруппа девушек – 1, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (различие между этими двумя подгруппами состоит лишь в том, что девушки отказываются интерпретировать паремии №№16–17, которые не отказываются интерпретировать юноши).

Рассмотрим теперь характер этих паремий, прежде всего, паремий №№16–17: куда Макар телят не гонял (№16) – «очень далеко, в самые отдаленные места (выслать, загнать, попасть и т.д.)» (Молотков 1967, 235); разверзлись хляби небесные (№17) – «*шутл.* Пошел сильный, проливной дождь» (Молотков 1967, 508). Для девушек паремии №№16–17, по-видимому, непрозрачны с точки зрения их «внутренней формы», не позволяющей вывести общий смысл, исходя из микросмыслов составляющих ее единиц (в первом случае необходимо подставить на место имени собственного одно из двух имен нарицательных – простака или плута, и понимать паремию следующим образом: куда простака (по своей наивности) или плут (даже при своей изворотливости) телят не гонял (т.е. не попадал в места, неизвестно где находящиеся); во втором

случае необходимо было заменить лексему «хляби» лексемой «окна», совмещая этот образ-паремию с рассказом о «великом потопе»).

Все другие паремии, не истолкованные ии., носят такой же немотивированный (и в культуральном, и в языковом/речевом отношении) характер: сидеть на пище святого Антония (№1) – «жить впроголодь. <...> По имени христианского аскета Антония Фивского (3–4 вв.), питавшегося в пустыне травами и кореньями» (Молотков 1967, 423); темна вода во облацех (№3) – «*книжн.* Непонятно, неясно» (Молотков 1967, 73). «Выражение, которым характеризуется что-либо непонятное; возникло из библейского текста» (Псал., 17, 12). «И положи тму закров свой, окрест его селение его, темна вода во облацех воздушных» (Ашукин, Ашукина 1960, 599); сухая ложка рот дерет (№7) – «...о взятках» (Даль 1882, 366); морковкино заговенье (№9) – «*шутл.* Неопределенно отдаленное время; время, которое никогда не наступит» (Молотков 1967, 161); зарывать талант в землю (№10) – «губить свои способности, не использовать их, не давать им развиваться» (Молотков 1967, 170) (показательно, что эта паремия может быть истолкована и без знания евангельской притчи о рабах, двое из которых пустили в дело хозяйские деньги, а один зарыл их в землю, см.: Ашукин, Ашукина 1960, 226), ибо возможно истолкование слова «талант» в его современном смысле (не как денежной единицы), позволяющее адекватно понять паремию; по-видимому, истолкование паремии №7 как указывающей на что-то мешающее, само по себе неприемлемое, требующее «добавки», тоже позволяет хотя бы в общем виде понять смысл этого высказывания); как за язык подвешен (№14) – «*устар.* В беспрестанных хлопотах, будучи занят сверх меры работой, делами и т.д.» (Молотков 1967, 326); не класть охулки на руку (№15) – «не упускать своей выгоды, всячески соблюдать свои интересы» (Молотков 1967, 199); разводиться турусы на колесах (№18) – «1. Говорить чепуху, вздор, небылицы, врать. <...> 2. Болтать о чем-либо, вести пустые разговоры, разговаривать» (Молотков 1967, 378); такой сякой намазанный (№19) – «*прост.* Выражение, употребляющееся вместо развернутой характеристики или оценки кого-либо, обычно отрицательной»

(Молотков 1967, 471); на обухе рожь молоть (№20) – «устар. Прибегать к крайним мерам, делать все, чтобы обогатиться» (Молотков 1967, 256–253).

Рассмотрим теперь ответы, исходя из половых и профессиональных различий между испытуемыми и сгруппировав ответы в нижеследующих таблицах (Таблицы №№3–4).

Таблица №3

Ии. ю.-м. ²	№№ паремий	Ии. ю.-ф. ²	№№ паремий
1.	5,9	1.	14
2.	1,7,9,14,15,20	2.	15
3.	3,9	3.	9,15
4.	15,20	4.	9,15,19
5.	18,20	5.	5
6.	1,3,9,15,18,19,20	6.	15,18,19
7.	3,15,18,20	7.	9
8.	2,3,10	8.	3,7,15
9.	18		
10.	15		
11.	9		
12.	3,9,18		
13.	15,18		
14.	1,9,14,15,18		

Итак, у юношей-математиков глубина цепочки неузнавания паремий (предел неузнавания) равна 1–6 паремиям, а у юношей-филологов – 1 или 3 паремиям. У девушек-математиков глубина той же цепочки (предел неузнавания) равна 2–7 и 9 паремиям, а у девушек-филологов – 1–3 и 5 паремиям. Такое распределение ответов позволяет, по-видимому, сделать еще один вывод: у юношей-математиков по сравнению с юношами-филологами глубина цепочки неузнавания не только больше, но и является непрерыв-

² ю.-м. – юноши-математики, ю.-ф. – юноши-филологи

ной (недискретной). У юношей-филологов эта цепочка – фрагментарна, являясь лишь частью цепочки, характерной для юношей-математиков.

Таблица №4

Ии. д.-м. ³	№№ паремий	Ии. д.-ф. ³	№№ паремий
1.	1,9,15	1.	10, 15
2.	3,14,15,16,18,20	2.	9
3.	7,19,20	3.	7,9,15,18,20
4.	3,7,13,15,16,17,19	4.	3,15,17,18,20
5.	3,9,15,19	5.	9,15,18
6.	3,9,15,17,18,19	6.	9
7.	1,3,7,9,15,16,17,18,20	7.	3,14,15,18,120
8.	7,9,14,17,18	8.	1, 3,7,9,15
9.	1,3,7,10,14,15,18,19,20		

И у девушек-математиков, и у девушек-филологов цепочка неузнавания носит непрерывный (недискретной) характер, но до определенного – различного для этих групп – предела, за которым цепочки «свертываются», приобретая «точечный» (единичный) характер (по девять и пять паремий соответственно у той и другой представительницы этих групп).

Таким образом, мы можем сделать следующий обобщающий вывод: глубина цепочки неузнавания глубже и у юношей-математиков, и у девушек-математиков по сравнению с юношами-филологами и девушками-филологами. Недискретность этой цепочки характерна для юношей-математиков, диффузность (единичность, «точечность») – для юношей-филологов. Недискретны также и цепочки, характерные и для девушек-математиков, и для девушек-фи-

³ д.-м. – девушки-математики, д.-ф. – девушки-филологи

дологов, но заканчивающиеся «точечно» и напоминающие этим цепочку неузнавания, характерную для юношей-филологов.

Помимо этого, показательны также и следующие факты: 1) лишь юноши-математики отказываются истолковывать паремию №1 («сидеть на пище святого Антония»); 2) юноши-математики и юноши-филологи отказываются истолковывать паремии №3 («темная вода во облацех»), №7 («сухая ложка рот дерет»), №9 («морковкино заговенье»), №15 («не класть охулки на руку»), №18 («разводить турусы на колесах»), что, по-видимому, следует рассматривать как свидетельство общей для тех и других лакунизированной существующего паремиологического культурального фонда, но все же – если исходить из глубины цепочек неузнавания – большей для группы юношей-математиков; 3) в отличие от юношей-филологов для юношей-математиков оказывается непрозрачным смысл паремий №2 («бросать камешки в огород»), №10 («зарывать талант в землю») и №20 («на обухе рожь молотъ»), но и для тех и других ии. оказывается непрозрачным смысл паремии №5 («знать, где раки зимуют»). В то же время смысл паремии №19 («такой сякой намазанный») оценивается ии.-математиками как прозрачный в противоположность ии.-филологам.

В ответах девушек-математиков и девушек-филологов наблюдается большая однородность, чем в ответах ии.-юношей: и девушки-математики, и девушки-филологи оценивают как непрозрачные по смыслу паремии №№1, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20. В этом отношении группы ии.-девушек оказываются противопоставленными группам ии.-юношей, для которых характерно большее разнообразие в отказах-ответах. Показательно также, что среди девушек-математиков не встречаются ии., для которых оказалась бы непрозрачной лишь одна паремия, в то время как таковых среди девушек-филологов – три человека, среди юношей-математиков – три человека, а среди юношей-филологов – четыре человека.

Рассмотрим теперь ответы этих четырех групп испытуемых, исходя из близости их толкования смысла паремии эталонному образцу интерпретации, представленному в словарях А. А. Молоткова и В. И. Даля. Истолкования тех паремий, которые мы еще не рассматривали, представим в нижеследующих таблицах,

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

где знаком (++) отмечены паремии, максимально близкие к эталонному истолкованию; знаком (+) – паремии, в достаточной степени близкие к эталонному истолкованию; знаком (-) – паремии, максимально далекие от эталонного истолкования; знаком (--) – паремии, в достаточной степени далекие от эталонного истолкования.

Таблица № 5

Паремии	Ии. ю.-м.	Ии. ю.-ф.
№1	(++), (++) , (+), (++) , (++) , (++) , (+), (++) , (++) , (+), (++)	(+), (+), (-), (--) (+), (+), (+), (-)
№2 – бросать камешки в чужой огород – «Намекать на кого-либо в разговоре, в письме и т.п., отзываясь о нем неодобрительно, насмешливо, иронически» (Молотков 1967, 48)	(+), (++) , (+), (+), (--) , (++) , (--) , (+), (++) , (-), (--) , (+)	(+), (+), (+), (-), (+), (+), (+)
№3	(++) , (--) , (--) , (--) , (--) , (++) , (+), (--) , (--)	(+), (+), (--) , (+), (--) , (++) , (+)
№4 – выводить на чистую воду – «Разоблачать. О темных делах, махинациях или лицах, причастных к ним <...> Уличать в чем-либо» (Молотков 1967, 91)	(++) , (+), (+), (-), (+), (+), (+), (-), (--) , (+), (+), (++) , (+), (+)	(++) , (++) , (-), (-), (++) , (+), (++) , (++)
№5а – знать, где раки зимуют – «Прост. (Знать) как поступить наилучшим образом, наиболее выгодно, удачно и т.п.» (Молотков 1967, 384)	(--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--) , (--)	(--) , (--) , (--) , (-), (--) , (++) , (++)
№5б – знать, где раки зимуют – «Прост.1. (Узнать) что значит настоящие трудности. <...> 2. (Узнать) что значит настоящее наказание» (Молотков 1967, 284)	(++) , (++) , (-), (+), (+), (+), (--) , (--) , (++) , (+), (+), (+), (++)	(++) , (--) , (++) , (++) , (++) , (--) , (++)

Продолжение таблицы № 5

Паремии	Ии. ю.-м.	Ии. ю.-ф.
№6 – ходить вокруг да около – «Говорить обиняками, не касаясь сути дела» (Молотков 1967,509)	(--), (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) (++)	(+) , (+) , (-) , (-) , (-) , (+) , (-) , (++)
№7	(+) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-)	(-) , (-) , (-) , (-) , (++) , (-)
№8 – держать нос по ветру – «Примеряться к обстоятельствам, беспринципно меняя свои убеждения, свое поведение» (Молотков 1967, 136)	(-) , (-) , (-) , (+) , (+) , (-) , (+) , (-) , (-) , (+) , (+) , (+) , (-) , (-)	(++) , (++) , (-) , (-) , (++) , (++) , (-) , (++)
№9	(-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (++) , (++) , (-) , (++) , (++) , (+) , (-) , (++)	(-) , (++) , (-) , (-) , (++) , (++) , (++) , (++)
№10	(++) , (++) , (+) , (++) , (-) , (++) , (++) , (+) , (-) , (-) , (+) , (++) , (++) , (-) , (++) , (+)	(++) , (++) , (-) , (++) , (-) , (++) , (+) , (++)
№11 – зарубить себе на носу – «Прост. Запомнить крепко-накрепко, навсегда» (Молотков 1967,170)	(++) , (++) , (++) , (+) , (++) , (++) , (+) , (++) , (++) , (+) , (++) , (++) , (+) , (+)	(++) , (+) , (++) , (+) , (++) , (+) , (-) , (++)
№12 – хватать звезды с неба – «Отличаться выдающимися способностями, дарованием, умом и т.п.» (Молотков 1967, 504)	(-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (+) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-) , (-)	(-) , (+) , (-) , (-) , (++) , (+) , (-) , (++)
№13 – иголку негде воткнуть – «Прост. Очень много, в огромном количестве. О большом скоплении, о большом количестве кого-либо» (Молотков 1967, 274)	(++) , (++) , (++) , (++) , (+) , (++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (+) , (++) , (+) , (-)	(+) , (+) , (-) , (+) , (++) , (+) , (-) , (++)

Окончание таблицы № 5

Паремии	Ии. ю.-м.	Ии. ю.-ф.
№14	(--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (--), (--)
№15	(+), (--), (--), (--), (-), (--)	(--), (--), (--)
№16	(+), (+), (+), (+), (--), (+), (+), (+), (+), (+), (+), (-), (+), (+)	(--), (+), (+), (+), (+), (+), (++), (++)
№17	(++), (++), (+), (+), (--), (--), (++), (--), (++), (--), (+), (+) (--), (-), (--)	(++), (--), (+), (++), (++), (+), (+), (--)
№18	(--), (-), (+), (--) (+), (--)	(+), (--), (-), (++), (-), (++)
№19	(+), (+), (+), (-), (-), (+), (+), (--), (+), (--), (--), (--), (+)	(--), (++), (+), (+), (--), (--)
№20	(--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (-), (--), (--), (--), (--)

Таблица №6

Паремии	Ии. д.-м.	Ии. д.-ф.
№1	(++), (--), (++), (--), (++), (-)	(++), (++), (++), (--), (++), (++), (++)
№2	(+), (--), (--), (+), (+), (+), (-), (+), (++)	(+), (+), (-), (--), (++), (--), (-), (+)
№3	(--), (--), (--)	(--), (-), (--), (-), (--)
№4	(+), (+), (+), (+), (+), (+), (+), (+), (+)	(паремия опущена испыты- ваемой), (+), (+), (-), (+), (+), (++), (+)

Окончание таблицы №6

Паремии	Ии. д.-м.	Ии. д.-ф.
№5а	(--), (--), (+), (--), (--), (--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--)
№5б	(++), (-), (--), (--), (++), (--), (--), (--), (+)	(++), (++) , (--), (+), (--), (--), (--), (--)
№6	(++), (--), (+), (++) , (+), (++), (-), (++) , (++)	(--), (++) , (++) , (++) , (+), (-), (+), (--)
№7	(-), (++) , (--), (--)	(++) , (--), (--), (--), (--), (--)
№8	(+), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--), (--)	(-), (--), (--), (--), (--), (--), (+) (+)
№9	(++) , (--), (++) , (++)	(паремия опущена испыты- ваемой), (--), (--)
№10	(++) , (++) , (--), (++) , (+), (--), (++) , (++)	(++) , (+), (++) , (++) , (-), (++) , (--)
№11	(++) , (+), (+), (++) , (+), (+), (+), (+), (+)	(+), (++) , (++) , (+), (++) , (+), (+), (--)
№12	(++) , (++) , (--), (--), (-), (-), (--), (-), (-)	(++) , (-), (--), (--), (--), (--), (++) , (--)
№13	(+), (+), (+), (+), (+), (+), (+), (++)	(++) , (++) , (++) , (+), (+), (+), (+), (++)
№14	(--), (--), (--), (--), (--), (--)	(--), (-), (--), (--), (--), (--), (--), (--)
№15	(--), (паремия опущена испытываемой)	(--), (--)
№16	(+), (+), (+), (-), (--), (+)	(+), (+), (--), (--), (+), (--), (++)
№17	(--), (--), (--), (--), (--), (--)	(--), (++) , (--), (+), (--), (++)
№18	(+), (--), (-), (--)	(++) , (++) , (--)
№19	(+), (--), (+), (-)	(+), (-), (+), (+), (+), (--), (+)
№20	(--), (--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--)

Представим также в таблице № 7 ход истолкования паремий и той группой испытуемых, в ответах которых не было отказов от интерпретаций (хотя и наблюдались, как и в предыдущих микрогруппах, случаи элиминирования паремий).

Таблица №7

Паремии	Ии.ю.-м.	Ии.ю.-ф.
№1	(-), (-), (++)	(+), (+), (-), (+), (+), (+)
№2	(--), (--), (--)	(+), (+), (++) , (+), (-), (-)
№3	(--), (--), (--)	(++), (++) , (-), (--), (+), (--)
№4	(+), (+), (-)	(+), (+), (+), (-), (-), (паремия опущена испытуемой)
№5а	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (--)
№5б	(--), (-), (--)	(++), (++) , (+), (--), (++) , (+)
№6	(--), (+), (--)	(-), (паремия опущена испытуемой), (--), (--), (+), (--)
№7	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (+), (--), (--)
№8	(++), (+), (--)	(-), (-), (--), (--), (--), (--)
№9	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (--)
№10	(--), (-), (--)	(++), (++) , (++) , (--), (++) , (--)
№11	(+), (++) , (++)	(++) , (++) , (++) , (+), (++) , (--)
№12	(-), (--), (--)	(++) , (--), (--), (+), (--), (--)
№13	(+), (--), (+)	(++) , (++) , (++) , (++) , (++) , (па- ремия опущена испытуемой)
№14	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (паремия опущена испытуемой)
№15	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (--)
№16	(--), (-), (-)	(+), (+), (+), (+), (+), (+)
№17	(+), (--), (--)	(++) , (++) , (--), (--), (++) , (--)
№18	(--), (+), (-)	(+), (++) , (++) , (--), (--), (+)
№19	(+), (--), (+)	(--), (+), (+), (--), (+), (паремия опущена испытуемой)
№20	(--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--), (--), (паремия опущена испытуемой)

Таблица №8

Паремии	Ии. д.-м.	Ии. д.-ф.
№1	(-), (+), (+), (+)	(+), (+), (+), (+)
№2	(+), (+), (+), (+)	(++), (++) (+), (+)
№3	(+), (--), (--), (--)	(+), (-), (+), (-)
№4	(+), (+), (+), (+)	(+), (++) (+), (+)
№5a	(--), (--), (--), (--)	(--), (--), (-), (--)
№5б	(+), (+), (+), (+)	(++), (-), (--), (++)
№6	(--), (++) (+), (++)	(++) (-), (+), (++)
№7	(--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (+)
№8	(-), (-), (-), (-)	(++) (-), (++) (+)
№9	(--), (--), (--), (++)	(++) (+), (--), (--)
№10	(-), (++) (+), (+)	(++) (+), (+), (++)
№11	(+), (++) (+), (++)	(++) (+), (++) (+)
№12	(--), (--), (--), (++)	(--), (++) (-), (++)
№13	(++) (+), (++) (+), (++)	(++) (+), (++) (+)
№14	(--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--)
№15	(--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--)
№16	(+), (+), (+), (+)	(++) (+), (++) (+)
№17	(--), (++) (+), (++) (-)	(+), (++) (-), (+)
№18	(--), (+), (--), (++)	(-), (++) (-), (+)
№19	(-), (+), (+), (--)	(++) (-), (-), (+)
№20	(--), (--), (--), (--)	(--), (--), (--), (--)

Если считать за один знак (++) и (+), а также знаки (--) и (-), а это вполне допустимо, так как они указывают лишь на степень смысловой прозрачности или непрозрачности паремий для ии., то подытоживание всех случаев истолкования паремий выглядит следующим образом: юноши-математики – сто сорок девять случаев адекватного и вполне адекватного истолкования паремий против ста сорока двух случаев неадекватного и не вполне адек-

ватного истолкования (149/142); юноши-филологи – восемьдесят восемь случаев адекватного и вполне адекватного истолкования паремий против шестидесяти восьми случаев неадекватного и не вполне адекватного истолкования (88/68).

В свою очередь девушки-математики истолковали паремии адекватным или вполне адекватным образом в шестидесяти шести случаях и неадекватным или не вполне адекватным образом в семидесяти двух случаях (66/72). У девушек-филологов это соотношение было почти таким же: шестьдесят случаев против семидесяти (60/70).

В группах испытуемых, в ответах которых не было отказов от интерпретаций, это соотношение было следующим: юноши-математики – четырнадцать случаев против сорока девяти (14/49), юноши-филологи – пятьдесят три случая против шестидесяти семи (53/67); девушки-математики – сорок два случая против сорока двух (42/42), девушки-филологи – пятьдесят случаев против тридцати трех (50/33).

Таким образом, допустимо сделать несколько предварительных выводов. 1. Группа с отказами от интерпретаций. В ответах юношей-математиков из этой группы количество «положительных» ответов весьма близко к количеству «отрицательных», в ответах юношей-филологов наблюдается, хотя и не очень значительный, перевес «положительных» ответов над «отрицательными» (для подтверждения этой тенденции необходимо увеличить количество испытуемых). 2. Группа без отказов от интерпретаций. В ответах юношей-филологов наблюдается достаточно значительный перевес «положительных» ответов над «положительными» ответами юношей-математиков. У девушек-математиков и у девушек-филологов, входящих в первую группу, наблюдается почти одинаковое соотношение количества «положительных» и «отрицательных» ответов. Ответы девушек-математиков и девушек-филологов, входящих во вторую группу, также незначительно различаются между собой соотношением и «положительных», и «отрицательных» ответов.

В свою очередь, количество «положительных» ответов у юношей-математиков значительно превышает количество «положительных» ответов у девушек-математиков (первая группа), но у девушек-математиков вдвое меньше «отрицательных» ответов, чем у юношей (по-видимому, эта тенденция сохранится и в том случае, если в этих микрогруппах будет равное число ии.).

Во второй группе ии. – несколько иное распределение ответов: при почти равном соотношении «отрицательных» ответов девушки-математики дают большее количество «положительных» ответов, чем юноши-математики. Девушки-филологи и юноши-филологи дают почти одинаковое количество «положительных» ответов, но у юношей вдвое больше «отрицательных» ответов, чем у девушек.

Самым существенным результатом нашего эксперимента следует, по-видимому, считать следующий: распределение ответов в этих группах (и в микрогруппах, входящих в них) является специфическим по конфигурациям ответов-интерпретаций и позволяет рассматривать их в качестве группового (микрогруппового) паремиологического паспорта (при необходимости эти ответы могут быть представлены в двоичной системе исчисления). Иными словами, предложенная процедура опроса ии. носит паремиоскопический характер и может служить одним из средств фиксации состояния языкового/речевого сознания, а также слежения за изменениями в этом состоянии.

Диагностическую ценность для паремиологического паспорта групп (микрогрупп) представляют и такие факты: 1) паремия №5 (собственно, №5а и №5б) истолковывается всеми без исключения микрогруппами ии. лишь в том значении, которое указано в «5б» (образ, указывающий на предстоящие трудности или наказания), а не в «5а» (образ, указывающий на выгодный или удачный поступок). В языковом/речевом сознании наших ии. этот образ отсутствует. По-видимому, двойной учет истолкования этого высказывания позволяет судить о словарной и несловарной глупине паремиологического пространства; 2) паремии №№ 7–8 называются (за редкими исключениями) полупрозрачными или не-

прозрачными в смысловом отношении (для паремии №7 конструируется не «старый», а новый «денотат», например, типа: «ложка должна быть полной, с едой»). То же самое наблюдается и в отношении паремии №8, истолковываемой, как правило, следующим образом: «Будь начеку, чутко следи за ситуацией!» (В словаре А. М. Молоткова эти узуальные интерпретационные сдвиги не учтены); 3) паремия №12 истолковывается (во всяком случае, математиками, хотя и филологи не исключение в этом отношении) также неканонически. Типичное истолкование: «строить воздушные замки», «строить нереальные планы, прожектерствовать»); 4) неканонически истолковываются также и паремии №№14–15 и 20. Типичными образцами интерпретации могут служить следующие: №14 – «как в рот воды набрал», «не произносит ни слова», «слишком много болтает, язык хорошо подвешен»; №15 – «не принимать близко к сердцу», «не хамить», «не причинять неприятностей», «не делать гадостей», №20 – «делать не так, как надо», «заниматься непроизводительным, напрасным трудом, делать что-либо неправильно, неумело, и от этого проигрывать в результате», «скрипкой гвозди забивать», «из сапога суп варить».

Этот этап исследования паремий целесообразно рассматривать как промежуточный и имеющий целью построение диагностической процедуры, в которой может быть реализована следующая идея: все паремии ранжируются по степени смысловой прозрачности на основе адекватных и неадекватных интерпретаций, и каждой из них приписывается коэффициент прозрачности. Ход дальнейшего исследования в этом фрагменте: попытаться установить корреляции между характеристиками испытуемых и характеристиками их сознания, проявляющимися в своеобразии интеллектуальных действий при интерпретации паремий.

Второй этап исследования был ориентирован на построение вышеуказанной диагностической процедуры: паремии ранжировались по степени смысловой прозрачности, исходя из адекватности или неадекватности их интерпретаций, причем каждой из них приписывался коэффициент (условный) прозрачности. Этот коэффициент позволил выявить соотношенность вербальных реакций (оценок паремий) с полом и профессией испытуемых.

Ход выявления этих корреляций – суммарная оценка 20 паремий 56 ии. – представлен в нижеследующей таблице.

Таблица №1

№ паремии	++	+	-	--	0	Средняя оценка
1	17	20	7	5	7	+
2	8	30	6	10	2	+
3	5	9	5	22	15	--
4	9	36	8	1	2	+
5a	2	1	1	50	2	--
5б	18	13	3	20	2	+
6	26	10	7	11	2	+
7	3	3	1	39	10	--
8	8	10	8	30	0	--
9	16	1	0	28	11	--
10	29	8	7	9	3	++
11	29	24	1	2	0	++
12	10	4	7	35	0	--
13	30	20	1	3	2	++
14	0	0	1	50	5	--
15	0	1	1	27	27	--
16	7	34	4	7	4	+
17	15	10	1	25	5	--
18	8	6	5	16	21	--
19	1	23	7	15	10	-
20	0	0	0	42	14	--

Суммировать эти результаты можно следующим образом: высокой степенью смысловой прозрачности (++) характеризуются, по мнению ии., паремии №№10, 11, 13, достаточной степенью

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

смысловой прозрачности – паремии №№ 1, 2, 4, 5б, 6, 16. Как в высокой степени непрозрачные (--) характеризуются паремии №№ 5а, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, и в достаточной степени непрозрачная – паремия №19.

Представим, в свою очередь, распределение оценок в подгруппе юношей-математиков (17 чел.) в нижеследующей таблице:

Таблица №2

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	9	3	2	0	3
2	3	6	1	6	1
3	3	0	0	9	5
4	2	11	3	1	0
5а	0	0	0	16	1
5б	4	6	1	5	1
6	12	1	0	3	1
7	0	1	0	15	1
8	0	7	1	9	0
9	5	2	0	10	0
10	6	3	2	5	1
11	11	6	0	0	0
12	0	1	1	15	0
13	10	5	1	1	0
14	0	0	0	15	2
15	0	1	1	7	8
16	0	12	3	2	0
17	4	4	1	8	0
18	0	3	1	5	8
19	0	8	3	5	1
20	0	0	0	12	5

Таким образом, конфигурация оценок в этой подгруппе ии. может быть охарактеризована следующим образом: по сравнению со средней оценкой лучше оцениваются паремии №№1, 6, 17, оценка паремий №№ 2–4, 5а, 5б, 7–9, 11–16, 18–20 совпадает со средней оценкой; хуже средней оценивается паремия №10.

Распределение оценок в подгруппе юношей-филологов (14 чел.) выглядит следующим образом:

Таблица №3

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	0	10	3	1	0
2	1	10	3	0	0
3	2	6	1	4	1
4	5	4	4	0	1
5а	2	0	0	11	1
5б	8	1	0	4	1
6	1	4	4	4	1
7	1	1	0	10	2
8	5	0	2	7	0
9	5	0	0	9	0
10	10	0	2	2	0
11	8	4	1	1	0
12	3	3	2	6	0
13	7	4	0	2	1
14	0	0	0	12	2
15	0	0	0	9	5
16	2	11	0	1	0
17	6	3	0	5	1
18	4	3	2	3	2
19	0	5	0	6	3
20	0	0	0	13	1

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

Конфигурация оценок в этой подгруппе ии. может быть охарактеризована следующим образом: по сравнению со средней оценкой лучше оцениваются паремии №№5, 5б, 8, 12, 17, 18, (причем паремия №17 оценивается существенно лучше), оценка паремий №№1, 2, 4, 5а, 7, 9–11, 14–16, 20 совпадает со средней оценкой, а хуже средней оцениваются паремии №№6, 8, 19.

В свою очередь, в подгруппе девушек-математиков (13 чел.) распределение оценок выглядит следующим образом:

Таблица №4

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	3	3	2	2	4
2	1	9	1	2	0
3	0	1	0	6	6
4	0	13	0	0	0
5а	0	1	0	12	0
5б	2	5	1	5	0
6	8	2	1	2	0
7	1	0	1	6	5
8	0	1	4	8	0
9	4	0	0	4	5
10	6	3	1	2	1
11	4	9	0	0	0
12	3	0	3	7	0
13	5	7	0	0	1
14	0	0	0	10	3
15	0	0	0	5	8
16	0	8	1	1	3
17	2	0	0	8	3
18	1	2	1	4	5
19	0	4	2	2	5
20	0	0	0	9	4

Конфигурация оценок в этой подгруппе ии. может быть охарактеризована следующим образом: по сравнению со средней оценкой лучше оценивается паремия №6, оценка паремий №№2–4, 5а и 5б, 7–9, 12, 14, 16–18, 20 совпадает со средней оценкой, а хуже средней оцениваются паремии №№1, 10–11, 13, 15, 19.

В подгруппе девушек-филологов (12 чел.) распределение оценок выглядит следующим образом:

Таблица №5

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	5	4	0	2	1
2	3	5	2	2	0
3	0	2	4	3	3
4	2	8	1	0	1
5а	0	0	1	11	0
5б	4	1	1	6	0
6	5	3	2	2	0
7	1	1	0	8	2
8	3	2	1	6	0
9	2	0	0	4	6
10	7	2	2	0	1
11	6	5	0	1	0
12	6	4	0	2	0
13	8	4	0	0	0
14	0	0	1	11	0
15	0	0	0	6	6
16	5	3	0	3	1
17	3	3	0	4	2
18	3	1	2	1	5
19	1	6	2	2	1
20	0	0	0	8	4

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

Конфигурация оценок в этой подгруппе может быть охарактеризована следующим образом: по сравнению со средней оценкой лучше оцениваются паремии №№3 (но чуть лучше), 8 (но чуть лучше), 12 (но существенно лучше), 17–19, оценка паремий №№1, 2, 4, 5а, 6, 7, 10, 13, 14–16, 20 совпадает со средней оценкой, а хуже средней оценки оцениваются паремии №№5б – (существенно хуже), 9, 11 (чуть хуже).

Представим теперь распределение оценок паремий в зависимости от профессии (специализации) испытуемых. В таблице №6 представлены оценки испытуемых-математиков (30 чел.):

Таблица №6

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	12	6	4	2	6
2	4	15	1	8	2
3	3	1	0	15	11
4	2	24	3	1	0
5а	0	1	0	28	1
5б	6	11	2	10	1
6	20	3	1	5	1
7	1	1	1	21	6
8	0	8	5	17	0
9	9	2	0	14	5
10	12	6	3	7	2
11	15	15	0	0	0
12	3	1	4	22	0
13	15	12	1	1	1
14	0	0	0	25	5
15	0	1	1	12	16
16	0	20	4	3	3
17	6	4	1	16	3
18	1	5	3	9	12
19	0	12	5	7	6
20	0	0	0	21	9

В таблице №7 представлены оценки испытуемых-филологов (26 чел.):

Таблица №7

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	5	14	3	3	1
2	4	15	5	2	0
3	2	8	5	7	4
4	7	12	5	0	2
5a	2	0	1	22	1
5б	12	2	1	10	1
6	6	7	5	6	2
7	2	2	0	18	4
8	8	2	3	13	0
9	7	0	0	13	6
10	17	2	4	2	1
11	14	9	1	2	0
12	7	3	3	13	0
13	15	8	0	2	1
14	0	0	1	23	2
15	0	0	0	15	11
16	7	14	0	4	1
17	9	6	0	9	2
18	7	4	4	4	6
19	1	11	2	7	4
20	0	0	0	21	4

Таким образом, для группы испытуемых математиков диагностирующими (характеризующими их как некоторую групповую «личность») являются паремии №№б (оценка этой паремии лучше по сравнению со средней), 10 (ее оценка стремится к средней) и 15 (ее оценка лучше по сравнению со средней).

§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального...

Для группы испытуемых-филологов диагностирующими (характеризующими их как некоторую групповую «личность») являются паремии №№3, 6, 8, и 12 (их оценка лучше по сравнению со средней).

Представим также распределение оценок паремий в зависимости от пола испытуемых. В таблицах №№8 и 9 представлены оценки юношей (31 чел.) и девушек (25 чел.):

Таблица №8 (юноши)

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	9	13	5	1	3
2	4	16	3	6	2
3	5	6	1	13	6
4	7	15	7	1	1
5a	2	0	0	27	2
5б	12	7	1	9	2
6	13	5	4	7	2
7	1	2	0	25	3
8	5	7	3	16	0
9	10	2	0	19	0
10	16	3	4	7	1
11	19	10	1	1	0
12	3	4	3	21	0
13	17	9	1	3	1
14	0	0	0	27	4
15	0	1	1	16	13
16	2	23	3	3	0
17	10	7	1	13	0
18	4	3	2	11	11
19	0	13	3	11	11
20	0	0	0	25	6

Таблица №9 (девушки)

№ паремии	++	+	-	--	Отказы
1	8	7	2	4	4
2	4	14	3	4	0
3	0	3	4	9	9
4	2	21	1	0	1
5a	0	1	1	23	0
5б	6	6	2	11	0
6	13	5	3	4	0
7	2	1	1	14	7
8	3	3	5	14	0
9	6	0	0	8	11
10	13	5	3	2	2
11	10	14	0	1	0
12	7	0	4	14	0
13	13	11	0	0	1
14	0	0	1	21	3
15	0	0	0	11	14
16	5	11	1	4	4
17	5	3	0	12	5
18	4	3	3	5	10
19	1	10	4	4	6
20	0	0	0	17	8

Сопоставление данных этих двух таблиц позволяет сделать следующие выводы: 1) паремии №№5 и 17 юноши интерпретируют лучше, чем девушки; 2) паремию №6 девушки интерпретируют лучше, чем юноши, а паремии №№15, 17 – хуже, чем юноши.

Если учитывать данные, приведенные и в других таблицах, то вышеприведенные выводы могут быть дополнены и некоторыми другими: 1) по сравнению со средней оценкой паремию №5б де-

вушки интерпретируют хуже, а филологи чуть лучше; 2) паремию №6 девушки и математики интерпретируют лучше, а филологи – хуже; 3) паремии №№8, 12 интерпретируют чуть лучше филологи, а паремию №10 – чуть хуже математики; 4) паремию №11 девушки интерпретируют хуже (по сравнению со средней оценкой), а паремию №15 – хуже девушки и математики; 5) паремию №17 интерпретируют лучше филологи и юноши, а паремию №18 – филологи.

Литература

Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 2-е изд. М., 1960.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1882.

Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. М., 1988.

Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.

Приложение к §15. Фразеологизмы и их адрес

В одном из последующих экспериментальных исследований (25 чел., 12 юношей и 12 девушек: один и. отказался в нем участвовать) испытуемым также предлагалось заполнить таблицу, в которой слева были расположены высказывания (всего 8 групп общим объемом в 25 единиц: 4 единицы в первой группе и по 3 – в остальных), а справа – «пустые окошки», помеченные следующим образом: Приятелю/Родителю/Директору (школы)/Любому из них. Испытуемым ставилось следующее задание: «Могли бы Вы сказать такую фразу? (Если – да, поставьте в одном из «пустых окошек» с «персонажами» знак «+»)». Такая установка позволила рассматривать отсутствие каких-либо пометок в одном из «окошек» или наличие знака «←» в них (собственно: имплицитные и эксплицитные «нет») в качестве отрицательных ответов.

Из 2400 ответов ии. положительных оказалось 750, отрицательных – 1650, причем эти ответы оказались оценочно симмет-

ричными: 375 положительными, 825 отрицательными оценками отреагировали и юноши, и девушки. Иными словами, индексы групповой идиоматической интеоризации оказались однопорядковыми: и положительный индекс идиоматической интеоризации (375/750), и отрицательный (825/1650) равны 0,5.

Если учитывать, что эти индексы являются указанием на меру ролевой шлифовки индивида (на меру его социализации), то оказывается, что она воспринимается испытуемыми преимущественно как усвоение системы запретов (их в 2,2 раза больше, чем разрешений), а, точнее говоря, в качестве использования какой-либо идиомы по отношению к тому или иному «персонажу», воспринимаемому как заведомо находящемуся на близкой, средней или далекой идиоматической дистанции. Иными словами, положительные и отрицательные индексы указывают, что идиоматическая дистанция/идиоматическое расстояние рассматривается как дробящееся на отрезки общение, носящее паритетный или непаритетный характер. Тем самым, как это ни парадоксально, формальная симметрия оценок оказывается содержательно несимметричной, «персонажно» и контекстуально обусловленной, ибо и Приятель, и Родитель, и Директор/Учитель, и Любой, и Никто осознаются в качестве указывающих на вербальные и невербальные составляющие соответствующего дискурса поведения.

Приведем в связи с этим результаты, полученные от юношеской группы ии. Плюс-ответы можно выстроить в такой последовательности: 51, 55, 11, 41, 23, 46, 30, 45, 26, 15, 11, 21 (всего 375), а цепочка минусов-ответов носит следующий характер: 49, 45, 89, 59, 77, 54, 70, 55, 74, 85, 89, 79 (всего 825).

В свою очередь, в группе ии.-девушек положительные ответы оказались нижеследующими: 31, 25, 44, 28, 16, 22, 42, 44, 26, 37, 28, 32 (всего 375), а отрицательные таковыми: 69, 75, 56, 72, 84, 78, 58, 56, 74, 63, 72, 68 (всего 825).

В цепочке юношеских ответов количество (ниже 30 единиц) положительных варьируется: их 11 у третьего и одиннадцатого ии., 23 ответами отреагировали пятый и 26 – девятый и., 15 и 21 – десятый и двенадцатый и., 30 – седьмой и. Соответственно и от-

рицательных ответов у третьего и одиннадцатого ии. – 89, у пятого – 77, у девятого – 74, у десятого – 85, у двенадцатого – 79 и у седьмого – 70.

В цепочке ответов девушек также наблюдается аналогичная картина положительных ответов: 25 и 28 у второй и четвертой и., 16 и 22 – у пятой и шестой, 26 и 28 – у девятой и одиннадцатой. Соответственно и отрицательных ответов у второй и четвертой и. – 75 и 72, у пятой и шестой – 84 и 78 и у девятой и одиннадцатой – 74 и 72.

Если соотнести вышеуказанные положительные и отрицательные ответы, то неизбежен, очевидно, следующий вывод: такое соотношение (89:11, 77:11 и т.д.) можно истолковывать в качестве индивидуального коэффициента интериоризации фразеоединиц, позволяющего судить о характере ролевого репертуара наших ии. И особенно важны для этого соотношения минус-оценки, указывающие на осознание значимости зоны запретов, соотнесенных с той или иной идиомой. И даже если рассматривать их в виде ответов-отказов, свидетельствующих о неумении ии. соотнести аксиологическую тональность идиомы с «персонажем», то и в этом случае оно показательно в качестве характеристик минус-ответов как находящихся в зоне риска/в зоне возможной коммуникативной неудачи.

Рассмотрим в связи с этим ответы некоторых испытуемых, предварительно приведя идиомы, использованные в эксперименте.

- 1 группа идиом: Я за тебя в огонь и воду! (1)
Я за Петю в огонь и воду! (2)
Я за тебя (Вас) в огонь и воду! (3)
Я за своего друга в огонь и воду! (4)
- 2 группа идиом: Мне эти проблемы до лампочки! (5)
Я знаю, тебе эти проблемы до лампочки! (6)
Пете эти проблемы до лампочки! (7)
- 3 группа идиом: А я сижу себе и ухом не веду! (8)
А ты (Вы) сидите себе и ухом не ведете! (9)
А Петя и ухом не повел! (10)

- 4 группа идиом: Я знаю, что я у тебя (у Вас) как кость в горле! (11)
Ты (Вы) у меня как кость в горле! (12)
Я знаю, Петя для тебя (для Вас) как кость в горле! (13)
- 5 группа идиом: Я давно на его клевою ручку глаз положил! (14)
Ты (Вы) давно на мою (Петину) клевою ручку глаз положил (положили)! (15)
Петя давно на мою клевою ручку глаз положил! (16)
- 6 группа идиом: Мы с Петей на ножах (17)
Я знаю, что ты (Вы) с Петей (с бабушкой) (с нашей учительницей) на ножах! (18)
Ты (Вы) сам (сами) виноват (виноваты), что мы с тобой (Вами) на ножах! (19)
- 7 группа идиом: Знаешь (знаете), мне теперь все один чорт! (20)
Тебе (Вам) теперь все один чорт! (21)
Пете теперь все один чорт! (22)
- 8 группа идиом: Я влюбился в нее в третьем классе по уши! (23)
Я знаю, что ты (Вы) влюблены в нее по уши! (24)
Петя влюблен в нее по уши! (25)

Например, для испытуемого №3 в зоне повышенного коммуникативного риска оказываются идиомы 4-й и 5-й групп (использованы лишь минус-ответы/ответы-отказы). Почти также воспринимаются и идиомы 6-й и 7-й групп: по одному положительному ответу в каждой группе. В 6-й группе положительно маркирована идиома №17, адресованная третьему «персонажу» (директору школы), в седьмой – идиома №20, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них). Во 2-й, 3-й и 8-й группах (в каждой из которых зафиксированы по две положительные оценки) плюс-ответы распределились следующим образом: идиома №7, адресо-

ванная первому «персонажу» (приятелю) и второму «персонажу» (родителям), идиома №8, адресованная второму «персонажу» (родителям), и идиома №10, адресованная первому «персонажу» (приятелю), идиома №20, адресованная первому и второму «персонажам» (приятелю и родителям). Идиомы 1-й группы лишь в четырех случаях (из 16) маркированы положительно: идиома №1, адресованная второму «персонажу» (родителям), идиома №3, адресованная первому (приятелю) и третьему «персонажу» (директору школы), идиома №4, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них).

Таким образом, оказывается, что фразеологизмы и коррелированные с ними – положительно или отрицательно – «персонажи» есть не что иное, как фрагменты идиоматической карты, прочитываемой сугубо выборочно – в зависимости от реального или предполагаемого статуса/престижа «персонажей», а также от характера существующих или возможных отношений с ними (формальные или неформальные).

Особенно показательны, на наш взгляд, ответы испытуемых №10 и №11.

Для испытуемого №10 в зоне повышенного коммуникативного риска оказываются идиомы 3-й и 5-й групп (использованы лишь минус/ответы-отказы). В 6-й, 7-й и 8-й группах зафиксировано по одному положительному ответу: такова идиома №17, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них), идиома №20, адресованная тому же персонажу, и идиома №23, также адресованная четвертому «персонажу». Во 2-й группе идиом положительно маркированной оказалась идиома №5, адресованная двум «персонажам» – первому (приятелю) и второму (родителям). В 4-й и 1-й группах зафиксированы соответственно три и пять положительных ответов: идиома №11, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них), идиома №12, адресованная первому «персонажу» (приятелю), идиома №13, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них), идиома №1, адресованная первому и второму «персонажам» (приятелю и родителям), идиома №2, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них), идиома

№3, адресованная первому «персонажу» (приятелю), идиома №4, адресованная четвертому «персонажу» (любому из них).

Еще более показательны ответы испытуемого №11. Для него в зоне повышенного риска оказываются идиомы 7-й и 4-й групп. Почти так же оцениваются идиомы 5-й, 6-й и 8-й групп: всего три положительных ответа – по одному в каждой группе. Таковы идиомы №№16, 11 и 23, адресованные первому «персонажу» (приятелю). В 1 группе положительно маркирована лишь идиома №1, адресованная и второму, и третьему «персонажу» (приятелю и родителям). А во 2-й и 3-й группах положительно маркируются лишь идиомы №№5–10, все адресованные первому «персонажу» (приятелю).

Схожие ответы наблюдаются и у девушек. Например, для испытуемой №5 в зоне повышенного риска оказываются идиомы 4-й и 5-й групп (использованы лишь минус/ответы). Почти в такой же зоне находятся и идиомы 2-й, 3-й и 7-й групп – всего по одному положительному ответу в каждой из них: такова идиома №7, адресованная второму «персонажу» (родителям), и идиома №10, адресованная первому «персонажу» (приятелю).

Три положительных ответа зафиксированы в 6-й группе: такова идиома №17, адресованная первому, второму и четвертому «персонажам» (приятелю, родителям, любому из них), четыре положительных ответа – в 8-й группе: таковы идиомы №№ 24 и 25 (обе адресованы первому «персонажу»), а также идиома №23 и №25: первая адресована четвертому «персонажу», вторая – третьему, и шесть положительных ответов – в 1-й группе: так маркированы идиома №1, адресованная и первому, и второму «персонажу», идиома №2, адресованная второму «персонажу», и идиома №3, адресованная и второму, и третьему «персонажам».

Для испытуемой №6 в зоне повышенного коммуникативного риска оказываются идиомы 5-й группы. Почти в такой же зоне оказываются и идиомы 6-й группы: зафиксирован лишь один положительный ответ, скоррелированный с первым «персонажем», которому адресуется идиома №17. 3, 4 и 8 группы спровоцировали появление трех положительных ответов в каждой из них: тако-

вы идиомы №№ 8 и 9, ориентированные на первого «персонажа», идиомы №№ 11, 12, 13, все ориентированные на первого «персонажа», идиомы №№ 23, 24, 25, также ориентированные на первого «персонажа».

Выводы, вытекающие из этих выборочно представленных результатов, вполне очевидны: идиоматическая карта – неоднородна. Она есть чередование «разреженных» и «плотных» слоев, комбинируемых, как правило, уникально. Она есть идиосимптомокомплекс, указывающий на меру развитости вербальных и невербальных навыков и умений носителя русского языка.

Идиоматическая карта – это сумма специфических шифтеров, свидетельствующих не только о языковых/речевых возможностях того или иного индивида/той или иной языковой личности, но и о его/ее базовых/глубинных качествах. Можно, по-видимому, предположить, что «разреженные» слои являются знаками и вербального, и невербального (когитивно-когнитивного) инфантилизма (таковы, на наш взгляд, те испытуемые, ответы которых мы проанализировали), противопоставленного процессу «инициации», знаками которой являются «плотные» слои (таковы, например, ответы №№ 1–2 в юношеской группе и ответы №№ 7–10 в группе ии.-девушек).

§16. «Карандаш на бумаге»: рассказ о вещах и о себе самих

В «Игре» с карандашом, лежащим на бумаге, принимали участие следующие испытуемые: математики-мужчины (17 чел., №№ 1–17), математики-женщины (12 чел., №№ 18–30), филологи-мужчины (13 чел., №№ 31–44) и филологи-женщины (12 чел., №№ 46–58).

Им предъявлялась следующая инструкция: 1. «Перед Вами на столе лежат некоторые предметы. Опишите их. 2. Как Вы думаете, сможет ли кто-нибудь другой воспроизвести по Вашему описанию этот «натюрморт»? Если нет, что следует добавить к описанию. 3. Какова, по Вашему мнению, судьба этих предметов: что

с ними было раньше, что происходит теперь и случится в дальнейшем?»

(Примечание. Испытуемые отвечали и устно (их ответы записывались на магнитофон и затем «переводились» в скрипты), и письменно.

Наше исследование, очевидно, может быть вписано в контекст исследований, целью которых является выявление способов смыслоформирования и смыслоформулирования, объединяемых «... в четыре большие группы: 1) категориально-познавательные, 2) ситуативно-познавательные, 3) оценочно-познавательные и 4) побудительные» (Клычникова 1973, 96); см. в связи с этим также: Зимняя 1989). Если первая группа способов/категорий – «это категории, выражающие опознавание данного объекта как такового», то «вторая группа категорий – это категории, обозначающие отношения, существующие между познаваемыми объектами. Они могут обозначать обычно существующие связи явлений, а также связи, возникающие в данной ситуации. Таковы категории места: «на столе», «в комнате»; расположение: «под углом», «диагонально к»; последовательности: «после того как», «вчера... сегодня»; признака: «лежащий на столе блокнот говорит о том, что здесь кто-то вел эксперимент»; причины: «он взял блокнот, потому что не хотел, чтобы прочли его запись»; цели: «он взял блокнот для того, чтобы...»; условия: «раз он взял блокнот, то будет вести записи (Клычникова 1973, 96).

«Если для категории первой группа характерна идентификация понятий, то ситуативно познавательные категории содержат двойную идентификацию объектов (явлений) и идентификацию связи между ними» (Там же, 98), а категории третьей и четвертой группы обслуживают идентификационные отношения между человеком и объектом (Там же, 98).

Рассмотрим устные ответы (У-ответы) математиков-мужчин (ответы ии. №№10–11 не учитывались из-за некачественной записи) с точки зрения использования в них тех категорий, о которых писала З. И. Клычникова, а также пытаюсь обнаружить и другие маркеры вербального и невербального поведения, характерного для ии.

Общим признаком его является отказ всех ии. от ответа на второй пункт инструкции: «Как Вы думаете, сможет ли кто-нибудь другой воспроизвести по Вашему описанию этот «натюрморт»? По-видимому, этот пункт оценивался ими или как несущественный, или как мешающий формулированию ответов на первый и второй пункты, или как излишне «альтруистический».

Эта группа ии. распадается на две неравные подгруппы: одна из них (ии. №№3 и 12) стремится к полноте/исчерпанности описания (максималисты), другая – к лаконичности/сжатости (минималисты – все остальные ии.). Но и те, и другие без исключений используют и «гностические» категории, «выражающие опознание данного объекта как такового», и «локустические» категории, «обозначающие отношения, существующие между познаваемыми объектами».

Ср.: «...передо мной лежит лист бумаги, на котором по диагонали, не совсем в центре, лежит зеленый карандаш с ластиком на конце... Лист бумаги лежит длинной стороной ко мне... ... острие карандаша направлено от меня, и угол между длинной стороной и карандашом равен 35° . Карандаш смещен на 5 см. (исп. №3); «лист бумаги белого цвета, размеры приблизительно 30x18, достаточно плотный для писчей бумаги, но достаточно тонкий для бумаги вообще. Используется для печатания на машинке. Карандаш. Карандаш простой, 2М. ...сам карандаш зеленый, с одного конца заточен достаточно остро, хотя самый кончик немного обломан, с другого конца имеется алюминиевый крепеж, цилиндрической формы, который одет с одной стороны на карандаш, а с другой стороны цилиндра вставлена стирающая резинка, которой пользовались достаточно мало, сам карандаш тоже совсем недавно начали использовать. И надо заметить, что заточен он был всего лишь один раз, карандаш называется «Смена», стоит четыре копейки, есть рисунок – такой обрубленный ромбик, с одной стороны закрашенный, а по концам слова «Смена» такие узоры, представляющие из себя крест с точками и надпись «Смена 2М», двойка арабская, восемь, десять, девять тоже арабскими цифрами, «ц», точка, четыре копейки, без точки» (исп. №12); «...на столе лежит

белый лист бумаги, на нем лежит карандаш, карандаш длинный, неиспользованный, остро заточенный, двойная мягкость, на одном конце стерка, окольцованная металлом, предположительно алюминий, цена карандаша четыре копейки. Карандаш «Смена» заточен несколько небрежно...» (исп. №4); «...серый лакированный стол, в правом дальнем углу лист бумаги. На нем карандаш. Все, наверное. Карандаш простой, с ластиком, лист бумаги обычный. Лист лежит вдоль стола. ...стороны листа параллельны ребрам стола, карандаш лежит по диагонали листа бумаги, ластиком ко мне, заточенным углом – в угол стола» (исп. №9).

Для всех ответов ии. характерны также указания – большей или меньшей детализированности – на фактуру/качество/признаки предметов, указывающие на их «возраст», на способ обращения с ними, на их ценность и меру износа. Иными словами, «локустические» категории – антинейтральны: они служат для опознавания вещей, качественно детализируя этот процесс.

Для большинства ответов на третий пункт анкеты типично сосуществование высказываний/фрагментов высказываний четырех типов: синхронических («...в настоящий момент они (предметы – Ю. С.) лежат вместе, я их описываю...», исп. №16); диахронических («раньше они лежали – карандаш со своими карандашами, лист бумаги в пачке бумаги...», исп. №9), «в прошлом эти предметы находились на каком-то складе, затем они были приобретены данным учреждением, попали на этот стол», исп. №15); футурохронических («бумагу постелят в ящик стола, а карандаш – карандаш сломается..., потом его, наверное, выбросят. Вот и все», исп. №2), «...после того, как я их (карандаш и лист бумаги – Ю. С.) опишу, их опять разнесут по разным углам... и они продолжат свое существование отдельно друг от друга», исп. №6) и протохронических («...карандаш начал свою судьбу с того, что был изготовлен на карандашной фабрике из куска дерева, привезенного из Сибири, куска графита...», исп. №12; «...прошлое этих вещей совпадает, это, скорее всего, бывшая древесина...», исп. №4) (см. в связи с этим: Борисова 1997).

Иными словами, эти ответы есть не что иное, как хронограмма, в которой распределение высказывание/фрагментов высказываний (хронотропизмов) оказывается хотя и достаточно устойчивым, но все же вариативным. Ср. ответы исп. №6 и №14: «...видимо, раньше они были разрозненны (микрофрагмент-диахрон обобщенного характера – Ю. С.), но были вместе (микрофрагмент-диахрон обобщенного характера), карандаш лежал где-нибудь, у кого-нибудь на столе (микрофрагмент-диахрон конкретизирующего характера), бумага в какой-нибудь папке (микрофрагмент-диахрон конкретизирующего характера), в настоящий момент они лежат вместе, я их описываю (микрофрагмент-синхрон обобщенного характера)..., видимо, после того, как я их опишу (микрофрагмент-футурохран обобщенного характера), их опять разнесут по разным углам... и они продолжают свое существование отдельно друг от друга (микрофрагмент-футурохран обобщенного характера); «...этот лист бумаги был взят откуда-то и положен сюда (микрофрагмент-диахрон обобщенного характера), специально на него положен, чтобы создать какую-то композицию, карандаш (микрофрагмент-диахрон обобщенного характера), в дальнейшем они вернуться на свои исходные позиции (микрофрагмент-футурохран обобщенного характера) – в какую-то пачку бумаги попадет лист бумаги (микрофрагмент-футурохран конкретизирующего характера), а карандаш будут использоваться..., где он нужен (микрофрагмент-футурохран конкретизирующего характера). В прошлом лист бумаги лежал в какой-то пачке (микрофрагмент-диахрон конкретизирующего характера), а карандаш был предварительно заточен и лежал в какой-нибудь карандашнице (микрофрагмент-диахрон конкретизирующего характера). В будущем они вернуться в свои исходные места, где они в дальнейшем будут использованы по назначению» (микрофрагмент-футурохран обобщенного характера).

Таким образом, распределение хронотропизмов в этих двух случаях (но и во всех остальных) оказывается весьма специфическим:

исп. №6 – диахронОбобщ. → диахронОбобщ. →
 диахронКонкр. → диахронКонкр. → синхронОбобщ. →
 футурохранОбобщ. → футурохранОбобщ.;

исп. №14 – диахронОбобщ.→диахронОбобщ.→
футурохранОбобщ.→футурохранКонкр.→
футурохранОбобщ.→футурохранКонкр.→футурохранКонкр.

(Примечание. Футурохронические высказывания/фрагменты этих высказываний являются по своей тональности деструктивно-пессимистическими).

Для группы математиков-женщин (У-ответ исп. №29 не рассматривался из-за некачественной записи) также характерен отказ от ответа на второй пункт анкеты. Все. ии., кроме двух (№№18 и 29), ориентированы на минимизацию описания. Все ии. без исключений используют и «гностические», и «локустические» категории: «На столе лежит белый лист бумаги, на нем – карандаш с ластиком. На столе, причем не на середине, а ближе к углу, к задней стенке стола, лежит прямоугольный чистый белый лист бумаги. Я не помню его формата, но это обыкновенный альбомный лист, белая тонкая бумага. <...> Две большие стороны листа параллельны большей стороне стола. Карандаш лежит ровно по диагонали этого листа и приблизительно по середине, по диагонали к центру стола. Заточен он плохо, почти тупой. Карандаш с ластиком, ластик практически новый» (исп. №18); «...на столе я вижу простой зеленый карандаш, лежащий на белом листе бумаги. Он длинный, сантиметров пятнадцать, с ластиком. Лист бумаги где-то сантиметров тридцать на тридцать, сорок на двадцать. Обыкновенный белый лист для печатной машинки, например. Карандаш хорошо отточенный, острый. <...> Еще: карандаш лежит под углом тридцать градусов к горизонтальной линии стола. А лист бумаги... ей параллелен» (исп. №25).

Наблюдаются и детализации типа «...подточили, очевидно, совсем недавно, не очень умело» (исп. №19), «...карандаш называется «Смена», второй мягкости, цена сорок четыре копейки, выпуск этого года..., на конце вставлена резинка, неначатая, с другого – очень неаккуратно заточен» (исп. №23). В этом отношении ответы ии. женщин аналогичны ответам ии. мужчин.

Для женских ответов также характерно – в тех или иных комбинациях – сосуществование четырех типов высказываний/фраг-

ментов высказываний – синхронических, диахронических, футуро-хронических и протохронических: исп. № 27 – «...ну в будущем можно написать письмо (минифрагмент-футурохрон конкретизирующего типа). Взять карандаш, что-нибудь нарисовать или написать. На листе (минифрагмент-футурохрон обобщенного типа). Раньше листок лежал в какой-нибудь папке, а карандаш в какой-нибудь карандашнице (минифрагмент-диахрон конкретизирующего типа). А сейчас один лежит на другом» (минифрагмент-синхрон обобщенного типа); исп. №20 – «...бумага, наверное, создана для того, чтобы на ней писали (минифрагмент-диахрон обобщенного типа), карандаш – чтобы им писали (минифрагмент-диахрон обобщенного типа, но следует учитывать, что и этот, и предыдущие фрагменты можно считать диахроническими, если опираться на форму глаголов. При утрате их смысла/значения оказывается, что эти глаголы носят вневременной характер, а фрагменты, в которых они используются, следует квалифицировать как п а н х р о н ы); раньше они находились в каком-то другом месте (минифрагмент-диахрон обобщенного типа), потом их кто-то сюда положил (минифрагмент-диахрон обобщенного типа), сейчас они лежат на столе (минифрагмент-синхрон конкретного типа), и я их пытаюсь описать (минифрагмент-синхрон обобщенного типа). <...> Ну а потом их уберут, на бумаге что-нибудь напишут и карандашом будут пользоваться (минифрагмент-футурохрон обобщенного типа). Потом, когда бумагу испишут, ее выкинут, скорее всего (минифрагмент-футурохрон обобщенного типа). Карандаш может сломаться (минифрагмент-панхрон), его будут подтачивать до тех пор, когда он станет совсем короткий и его будет невозможно подточить (минифрагмент-футурохрон обобщенного типа). Его тоже выкинут (минифрагмент-футурохрон обобщенного типа). Иными словами, порядок распределения хронотропизмов у этих двух ии. является таковым:

футурохронКонкр. → футурохронОбобщ. → диахронКонкр. → синхронОбобщ. (исп. №27) и диахронОбобщ.(панхрон) → диахронОбобщ. (панхрон) → диахронОбобщ. → диахронОбобщ. → синхронКонкр. → синхронОбобщ. → футурохронОбобщ. → футурохронОбобщ.(панхрон) → футурохронОбобщ.Конкр. → футурохронОбобщ. (исп. №20).

Таким образом, и в этих случаях каждая из хронограмм – как совокупностей хронотропизмов – оказывается индивидуально-характерологической, указывая на предпочитаемые/приоритетные способности структуриации/развертывания временного потока. Есть все основания полагать – с опорой на экспериментальные доказательства, – что эта структуриация не может не быть прижизненной и является одной из составляющих семиотической личности (пудгалы). Коротче говоря, можно считать хронотропизмы ее устойчивыми/персистентными свойствами. Они могут лишь репродуцироваться, но не меняться, и оказываются противопоставленными языковым/речевым «свойствам» – в высшей степени вариативным и изменчивым. Если языковая/речевая фактура может перерождаться, свидетельством тому – смена стилистического регистра (ключа наррации тем или иным писателем, например Н. В. Гоголем или А. П. Чеховым), то личностные свойства/свойства психики оказываются стабильными, лишь по-разному овеществляясь в авторском повествовании.

Можно также предположить, что отграничение вербальных коммуникатов одного продуцианта от вербальных коммуникатов другого окажется эффективным именно на основе анализа комбинаторики хронотропизмов, представленной в этих текстах (идио-хронотекст).

(Примечание. Футуро-хронические высказывания/фрагменты этих высказываний в женской группе ии. аналогичны по своей тональности высказываниям ии.-мужчин. Следует указать и на еще одну общую особенность: и мужские, и женские ответы ориентированы на «деловую речь». За одним лишь исключением: таков ответ испытуемой №22, ориентирующейся на экспрессивное/лирическое описание вещей).

Рассмотрим ответы филологов-мужчин (У-ответы). И они отказываются отвечать на второй пункт анкеты, и они используют «гностические» и «локустические» категории. Максималистами среди них оказались испытуемые №№33, 34, 36, 37, 38, 40 (но особенно №№38 и 40).

Как и в ответах двух предыдущих групп, временное расслоение наблюдается вполне четко: ответы на первый пункт анкеты яв-

ляются ответами-синхронами, ответы на третий пункт анкеты – ответами смешанного характера. Рассмотрим некоторые из них: исп. №34 – «...лист бумаги, вероятно, был изготовлен из древесины раньше (минифрагмент-протохронКонкр.), теперь это просто лист бумаги, чистый белый лист, на котором ничего не написано (минифрагмент-синхронКонкр.). Карандаш изготовлен тоже был из древесины (минифрагмент-протохронКонкр.), а внутренность карандаша – это грифель, специальный материал (минифрагмент-протохронКонкр.). Раньше этот карандаш был не заточен, его заточили (минифрагмент-диахронОбобщ.). И сейчас белый лист предназначен для письма, поскольку он определенной формы и определенного формата (минифрагмент-синхронКонкр.). И писали, видимо, при помощи этого карандаша (минифрагмент-диахронКонкр.), который на нем лежит (минифрагмент-синхронКонкр.), и если будет написано неправильно, можно будет стереть (минифрагмент-футурохронОбобщ.). Лист бумаги будет функционировать до определенного времени – насколько важна будет запись на этом листе (минифрагмент-футурохронОбобщ.). А карандаш со временем... испишется и прекратит свое существование (минифрагмент-футурохронОбобщ.). Его будут затачивать несколько раз, и в какой-то определенный момент он будет уже непригоден для письма, так же, как и бумага...» (минифрагмент-футурохронКонкр.); исп. №32 – «...лист бумаги лежал в какой-нибудь пачке, карандаш – в ящике стола (минифрагмент-диахронКонкр.). Вероятно, карандашом пользовались, поскольку он заточен (минифрагмент-диахронКонкр.), потом карандашом будут что-нибудь писать (минифрагмент-футурохронОбобщ.). Он будет ломаться, его будут затачивать и в конце концов (он) либо сточится совсем, либо потеряется (минифрагмент-футурохронОбобщ.). Лист бумаги будет исписан, куда-нибудь положен либо выброшен, либо разорван (минифрагмент-футурохронОбобщ.). Ну еще из листа бумаги можно сделать самолетик и пустить его из окна» (минифрагмент-футурохронКонкр.).

Представим еще раз схему распределения хронотропизмов:
 протохронКонкр. → синхронКонкр. → протохронКонкр. →
 панхронКонкр. → диахронОбобщ. → синхронКонкр. →

диахронКонкр.→синхронКонкр.→футурохранКонкр.→
синхронКонкр.→футурохранОбобщ.→футурохранОбобщ.→
футурохранОбобщ.→футурохранКонкр.→диахронКонкр.→
диахронКонкр.→футурохранОбобщ.→футурохранОбобщ.→
футурохранОбобщ.→футурохранКонкр. (исп. №32).

Если сравнить хронограмму испытуемого №14 и хронограмму испытуемого №32, то выясняется следующее: цепочки хронотропизмов почти одинаковы (семь составляющих против шести). И тот, и другой ориентируются на диахроническое и футурохраническое описание (нашего «натюрморта»), но по-разному аранжируют временные потоки: для испытуемого №14 важна в качестве начальной обобщающая точка отсчета и в качестве конечной – конкретная точка отсчета, для испытуемого №32 важна в качестве начальной конкретная точка отсчета и в качестве конечной – также конкретная точка отсчета. Срединные точки отсчета – в р е м е н н ы е в е х и – мыслятся испытуемым №14 в виде двух обобщающих квантов, за которыми следует конкретный квант, заменяемый, в свою очередь, на конкретный, а затем на обобщающий и снова на конкретный. Срединные точки отсчета мыслятся испытуемым №32 в виде конкретного кванта, за которым следуют три обобщающих кванта. Иными словами, описание «натюрморта» испытуемыми есть не что иное, как чередование фокусов внимания к тем или иным временным слоям, которым приписываются два различных модуля существования.

Рассмотрим ответы филологов-женщин (У-ответы; один из них – испытуемой №45 – не рассматривался из-за некачественной записи): они также не ответили на пункт второй анкеты, если не считать ответом такой: «Добавить? Нет, ничего не хочу» (исп. №51). И они использовали для описания «натюрморта» «гностические» и «локустические» категории. Максималисткой оказалась испытуемая №58. По сравнению с другими ответы испытуемых №№46, 47 и 56 также могут быть охарактеризованы как более развернутые/полные.

(Примечание. Футурохранические высказывания/фрагменты этих высказываний в меньшей мере деструктивно-пессимистичны, чем ответы всех других ии.).

У-ответы филологов-женщин не ориентированы на «деловую речь». Скорее всего, их описания «натюрморта» могут быть охарактеризованы как обыденно-экспрессивные.

Распределение хронотропизмов: исп. №52 – «...бумага раньше была деревом (минифрагмент-протохронКонкр.), дерево росло в лесу (минифрагмент-диахронКонкр.), его спилили, обработали (минифрагмент-диахронКонкр.), получили из него бумагу (минифрагмент-диахронКонкр.), карандаш тоже раньше был деревом (минифрагмент-протохронКонкр.), он подвергся иной обработке (минифрагмент-панхрон; он может быть охарактеризован и как минифрагмент-диахронОбобщ. по аналогии с минифрагментом №3, который допустимо квалифицировать и как панхронический), затем стал карандашом (минифрагмент-диахронКонкр.), причем, в него вставили грифель (минифрагмент-диахронКонкр.). Грифель раньше был чем-то вроде угля в природе (минифрагмент-протохронКонкр.), сейчас они служат для записи, для рисования (минифрагмент-синхронКонкр.). <...> ...когда бумагу всю испишут, ее сомнут, выбросят (минифрагмент-футурохранОбобщ.), или, если она будет нужна, ее будут хранить в каком-нибудь архиве (минифрагмент-футурохранКонкр.), или человек будет держать ее у себя в письменном столе и изредка взглядывать на нее (минифрагмент-футурохранКонкр.). Карандаш, когда он совсем испишется и станет маленьким-маленьким (минифрагмент-футурохранКонкр.), можно будет выбросить, а можно сохранить (минифрагмент-футурохранОбобщ.), или использовать в каких-то других целях – дать погрызть собаке или ребенку – поиграть...» (минифрагмент-футурохранКонкр.); исп. №46 – «Ну прошлое у них немножко общее (минифрагмент-протохронОбобщ.), и тот и другая были или березкой (минифрагмент-диахронКонкр.) или еще чем-то (минифрагмент-диахронОбобщ.). Ну а потом их пути разошлись (минифрагмент-диахронОбобщ., который допустимо квалифицировать и как минифрагмент-панхрон). <...> С этим деревом, по-моему, сделали все, что возможно, чтобы оно стало на себя совсем не похоже, чтобы оно стало таким беленьким, чистеньким (минифрагмент-диа-

хронКонкр.), мяли его, отмачивали, упустили, сделали совершенно плоским, и вот – пожалуйста (минифрагмент-диахронКонкр.). А с карандашом поступили, только обтесали, резинку прилепили и грифель воткнули... (минифрагмент-диахронКонкр.). Будет, ну я не знаю (минифрагмент-футурохранОбобщ.), в бумажку, может, что-нибудь завернут или сначала напишут, потом завернут... сыр или еще что-нибудь, может, чай (минифрагмент-футурохранКонкр.), потом все-таки выбросят (минифрагмент-футурохранОбобщ.). И все опять повторится (минифрагмент-футурохранОбобщ., который допустимо квалифицировать и как панхронический), будут делать опять бумажку (минифрагмент-футурохранОбобщ./панхрон), может, это будет страничка из сочинения какого-нибудь Германа Гессе» (минифрагмент-футурохранКонкр.).

(Примечание. Это единственная прецедентная отсылка, использованная в этой группе ии. (в других группах не было использовано ни одной). <...> Карандаш... его, может быть, еще раза три-четыре подточат (минифрагмент-футурохранОбобщ.), а может, кем-то будет взят к себе домой по рассеянности (минифрагмент-футурохранКонкр.), и там его сгрызет какой-нибудь щенок...» (минифрагмент-футурохранКонкр.).

Представим еще раз схему распределения хронотропизмов:

исп. №52 – протохранКонкр. → диахронКонкр. →
диахронКонкр./панхрон → диахронКонкр. → протохранКонкр. →
панхрон/диахронКонкр. → диахронКонкр. → протохранКонкр. →
синхронКонкр. → футурохранОбобщ. → футурохранКонкр. →
футурохранКонкр. → футурохранКонкр. → футурохранОбобщ. →
футурохранОбобщ.;

исп. №46 – протохранОбобщ. → диахронКонкр. →
диахронОбобщ. → диахронОбобщ./панхрон → диахронКонкр. →
диахронКонкр. → диахронКонкр. → футурохранОбобщ. →
футурохранКонкр. → футурохранОбобщ. →
футурохранОбобщ./панхрон → футурохранОбобщ./панхрон →
футурохранКонкр. → футурохранКонкр. → футурохранКонкр. →
футурохранОбобщ. → футурохранКонкр. → футурохранКонкр.

Сравнение описаний исп. №52 и исп. №20 позволяет считать, что в первом случае временной сценарий развивается от конкретного к обобщенному, а внутри него последовательно располагаются восемь конкретных квантов, за которыми следует обобщающий квант, заменяемый тремя конкретными квантами, а они, в свою очередь, заменяются на один обобщающий квант. Во втором случае временной сценарий развивается от обобщенного к обобщенному, а внутри него последовательно располагаются три обобщенных кванта, за которыми следует конкретный квант, за ним – три обобщенных кванта, панхронический квант, являющийся, собственно, сверх-обобщенным квантом, и обобщенный квант.

Сравним развертывание временных сценариев у исп. №№14 и 32 и исп. №№52 и 20: если у исп. №14 сценарий развертывается от обобщающего к конкретному, то у исп. №32 – от конкретного к конкретному. В свою очередь, у исп. №52 он развертывается от конкретного к обобщенному, а у исп. №20 – от обобщенного к обобщенному. Иными словами, женские и мужские (феминные и маскулинные) сценарии оказываются противопоставленными друг другу. Эта противопоставленность наблюдается не только в начальных и конечных точках развертывания сценариев, но и в их середине: ср. исп. №14: 2 (об) → 1 (к) → 1(к) → 1(об.) → 1(к); исп. №32: 1(к) → 3(об), исп. №52: 8(к) → 1(об) → 3(к) → 1(об), исп. №20: 3(об) → 1(к) → 1(к) → 3(об) → 1(об) → 1(об).

Короче говоря, для срединных участков сценария испытуемые-мужчины (№№14 и 32) используют в одном случае три обобщенных и три конкретных кванта (исп. №14), а в другом – один конкретный и три обобщенных (исп. №32) (всего шесть обобщенных и четыре конкретных). Женщины-испытуемые используют соответственно одиннадцать конкретных квантов наряду с двумя обобщенными (исп. №52) и восемь обобщенных квантов наряду с одним конкретным (исп. №20) (всего двенадцать конкретных и десять обобщенных). Таким образом, оказывается, что исп. №14 и №32 отличаются друг от друга уровнем конкретизации: он в три раза выше у исп. №14 и не различим на уровне обобщенности. Испы-

туемая №52 также отличается от испытуемой №20 уровнем конкретизации: он в одиннадцать раз больше у №52. Общий индекс временной конкретизации в три раза выше у женщин по сравнению с мужчинами, а общий индекс временной обобщенности – ниже: он равен 0,6.

В ответах, которые давались испытуемыми в письменном виде (П-ответы), прослеживаются те же тенденции, но с некоторыми изменениями. И мужчины-математики, и женщины-математики ориентированы на компрессию ответов, но максималисты и в этом случае остаются максималистами (соответственно исп. №12 и исп. №32). По-видимому, такое стремление к компактизации описания обусловлено различиями в установках, которыми руководствовались ии., давая У-ответы или П-ответы.

Установка на устный ответ (У-установка) предполагает, что мысль отыскивается словом, а установка на письменный ответ (П-установка) – нечто иное: мысль ищет и находит слово.

Прецедентное имя использовалось лишь одной испытуемой: «...может быть, этот листок попадет снова в переработку и будет одним из листков в книге Цицерона...» (исп. №29). Также один раз оно было использовано и исп. №40 (группа филологов-мужчин): «...хочется взять в руки карандаш (если бы я умел рисовать) и набросать нечто такое, что в основе своей составляло [бы] ту самую линию, которую определяет собой карандаш – скажем святого Георгия..., пронзающего дракона...».

В целом ответы этих двух групп отличаются от ответов филологов-мужчин и филологов-женщин стремлением не беллетризировать, а натурализировать «натюрморт», указать на его настоящее и возможное будущее, а не рассказать о том и другом как о литературном факте. Таким, стремящимся к безличности/к антиэмпатичности ответам, оказываются противопоставлены описания того типа, который предложен, например, испытуемым №41 (из группы филологов-мужчин): «На столе в правом верхнем углу лежит лист бумаги вдоль. На белом листке бумаги по диагонали лежит каран-

даш, резинкой – в нижний левый угол, грифелем – в правый верхний угол.

Судьба до: - дерево;
 - процесс деревообработки;
 - лист;
 - карандаш.

После: - лист используют;
 - подошуют в папку или выбросят;
 - карандаш используют;
 - выбросят.

Может быть, и не стоило губить дерево».

Заслуживает внимательного рассмотрения в дальнейшем и следующая показательный факт: среди описаний встречаются и такие, которые позволяют уверенно говорить о них как принадлежащих одному и тому же лицу (позволяют идентифицировать их). К ним относятся, например, описания исп. №12 (из группы математиков-мужчин), исп. №38 (из группы филологов-мужчин) и исп. №58 (из группы филологов-женщин).

У этих испытуемых видимое поле (Д. Гибсон) преобразуется в видимый мир, качества и свойства которого имеют устойчивый характер, точнее говоря, этот видимый мир «упаковывается» в вербальную и психическую оболочку, перманентно присущую ему на любой стадии его существования. Ср. У-ответ и П-ответ исп. №12: «...карандаш был изготовлен на карандашной фабрике из куска дерева, привезенного из Сибири, куска гранита, из алюминия и резинки», «...карандаш был изготовлен на карандашной фабрике из дерева, срубленного где-то в Сибири, графита, алюминиевого цилиндра и резинки», «...карандаш мог быть... забракован ОТК..., мог быть сломан по дороге..., мог быть куплен каким-нибудь аккуратным чиновником...», «...после изготовления карандаш выбраковало ОТК. <...> Он также мог быть сломан в процессе перевозки. В конце концов его купил бы или школьник..., или аккуратный чиновник...».

В свою очередь, исп. №38 пишет: «Оба предмета сделаны из древесины (из этой же древесины можно было бы сделать шкаф,

стол или, к примеру, срубить избу); правда, карандаш имеет еще грифель из графита (аллотропное изменение углерода) и резиновый ластик (серый) в металлической оправе». И он же говорит следующее: «Оба предмета сделаны из древесины, из этой же древесины можно было сделать все, что угодно, начиная от стола, книжной полки, кончая деревянной избой. Мы видим, что сделали из нее карандаш и бумагу, правда, в состав карандаша входит еще и грифель, который делается из графита, аллотропного изменения углерода, а также ластик, сделанный из резины, и металлическая оправка, куда этот ластик вставляется...».

Не менее схожи и следующие фрагменты из ответов исп. №58: У-ответ: «...когда-то очень давно оба они были большим зеленым деревом, росли в лесу. Тогда на них можно было только смотреть, сидеть под их сенью и радоваться тому, как чудесно устроен мир. Но потом дерево срубили и даже не стали использовать по наиболее естественному пути – растапливать семейный очаг, а погрузили на грузовики и повезли в большой город, где стоял деревообрабатывающий комбинат. Там лист и карандаш разлучили: полдерева пошло на переработку в бумагу, а вторую половину распилили на карандаши. Из первой части сделали огромный рулон белоснежной бумаги, который долго валялся на заводе, так как не знали, что с ним делать. А к карандашу приделали ластик и отвезли в магазин, где его тоже никто не покупал».

(Примечание. Сопоставление У-ответов с П-ответами свидетельствует о том, что они строятся по двум микротактикам: для смыслоформулирования У-ответов характерна микротактика, которую можно было бы назвать микротактикой стилистической необязательности, для смыслоформулирования П-ответов характерна микротактика, которую можно было бы назвать микротактикой стилистической обязательности. Но, конечно, и в У-ответах представлены фрагменты, совпадающие с фрагментами П-ответов).

Возвращаясь к обсуждению проблемы соотношения видимого поля с видимым миром, укажем еще раз на самое важное: утверждение о стабильности/устойчивости вербальной и психической

оболочки справедливо, по-видимому, лишь в границах нашего эксперимента, хотя и противоположаний/контрдоводов относительно случайности этого факта в нашем распоряжении нет. Однако существуют экспериментальные доказательства того, что соотношение вербального и невербального (как динамической совокупности аффективно-эмотивных и когнитивно-когнитивных маркеров личности) следует рассматривать как соотношение вариационного/флуктуационного с персистентным/инвариантным. Иными словами, психические свойства/качества личности есть (изначальная?) не изменяющаяся данность («смыслоформирующая», если угодно), определяющая себя в вариативной речевой материи. Именно она может видоизменяться и меняться (ср. с композиционно-жанровыми и стилистическими «разрывами»/противопоставлениями в творчестве, например, Пушкина или Чехова), маскируя – сознательно или бессознательно – ингерентный комплекс качеств/свойств личности. Короче говоря, речь/язык – это процесс непрекращающегося смыслоформулирования, а психические свойства/качества личности – это осадок закончившегося/самодостаточного смыслоформирования.

Опираясь на соображения В. П. Зинченко относительно структуры сознания (Зинченко 1991) и прилагая их к результатам нашего экспериментального исследования, целесообразно, по-видимому, считать, что бытийный слой (чувственная ткань образа) и рефлексивный слой (значение и смысл) соотносены субординативно: бытийный слой первичен, рефлексивный – вторичен. Рефлексивный слой – это слой представлений/идиопредставлений, а если и смыслов, то лишь как усреднения совокупности представлений. Понятие значения оказывается в этом случае – избыточным (как и любого другого конструкта?). Если чередование форм «...чувствительности обеспечивает основу элементарных рефлексивных актов...» (Зинченко 1991, 27), то и рефлексивные акты предопределяют характер чередования ингерентных форм чувствительности.

Рефлексивный слой как слой осознаваемых и неосознаваемых вербальных усилий также служит ретранслятором (генератором чередования?) форм чувствительности, обеспечивая узнаваемость ви-

димого мира (его идентификацию) в его хроносических модификациях.

Можно согласиться и с тем, что сознание «...находится не столько в индивиде, сколько между индивидами» (Зинченко 1991, 21), но не менее правомерно полагать, что оно находится и в индивиде, и между индивидами, и в вещах, которые мыслятся ими по своему образу и подобию.

Литература

Зимняя И. А. Психологические основы обучения говорению на иностранном языке. М., 1985.

Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. №2. 1991.

Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. М., 1973.

§17. Мужчина и женщина в интерьере «Русского ассоциативного словаря»

Диада «мужчина – женщина» является основным элементом межличностных отношений. Но, конечно, не единственным. С ним непосредственно связаны и другие цепочки взаимосвязей (иррадирующие межличностные цепочки): муж – жена – любить – семья – дети (ребенок/дитя – дочь – сын/мальчик – девочка/брат/сестра) – мать/мама – отец/папа – деньги – помощь – праздник – беседа – спор – мучение – ложь – будничный.

(Примечание. Длина этой цепочки может быть увеличена за счет и других единиц, имплицитно связанных с перечисленными выше).

Сначала рассмотрим, какие лексемы – соотнесения – характеристики выступают в качестве ассоциативного шлейфа стимулов «мужчина» и «женщина» (учитываются реакции ии. с частотой не ниже 10): 1) «мужчина: женщина 88; сильный 43; высокий 27; красивый 16; и женщина 13; сила, средних лет 12; красавец 10...», 2) «жен-

щина: мужчина 71; красивая 66; мать 36; в белом 19; молодая 11; красота, милая 10...» (Русский ассоциативный словарь 1994. Т. 1. С. 83, 52,).

Лексема «муж» провоцирует появление *иррадиатов/кристаллизатов* (об иррадиации и кристаллизации, но по другому поводу см.: Мамардашвили 1995, 480–492) такого типа – «муж: жена 106; верный 29; любимый 27; хороший 20; любящий 14; мужчина 13; мой 11; чужой 10...», а «жена» – нижеследующих: «муж 81; верная 33; любимая 26; моя 16; хорошая 12; друга, чужая 11...» (Там же, 83, 51).

(Примечание. Естественно, не все иррадиаты/кристаллизаты мелиоративны или нейтральны. И в ответах с понижающейся частотой, и особенно в единичных ответах – в *разреженном ассоциативном шлейфе* – представлены и пейоративы. Они, контрастируя с частотными реакциями, указывающими на *типовые смыслы*, являются *эксклюзивными смыслами*, которые в любой момент могут быть повышены в своем ранге).

Составляющими ассоциативного шлейфа стимула «любить» оказываются следующие: «человека 36; ненавидеть 28; жизнь 25; сильно 15; девушку 14; жить, мужа 12; женщину, крепко, природу 11; его, тебя 10...» (Там же, с.76), а составляющими стимула «семья» – «большая 76; дружная 55; дети 28; и школа 21; моя 18; школа 17; дом 14; крепкая 12; мама, счастливая 11; ячейка 10...» (Там же, 148).

В свою очередь, иррадирующие цепочки лексем «дети» и ее ответвлений («ребенок/дитя – дочь – сын/мальчик – девочка/брат – сестра») выстраиваются в таком порядке – «дети: маленькие 26; взрослые 20; играют 18; цветы 17, радость 15; цветы жизни 10...», «ребенок: маленький 79; мой 17; плачет 13; взрослый 10...», «дитя: природы 77; малое 54; ребенок 52; родное 14; мое 13; мать 12; маленький 11; века, времени, маленькое 10...», «дочь: сын 59; моя 41; взрослая 23; мать 18; ночь 17; родная 16; любимая 15...», «сын: дочь 74; полка 35; мой, отец 27; родной 19; взрослый, любимый 16; маленький 15; мать, старший 10...», «мальчик: с-пальчик 124; девочка 76; маленький 52; хороший 12; ребенок 10...», «девочка: маленькая 70; мальчик 60; красивая 20; припевочка 19; бантик, моя 14;

женщина 12...», «брат: сестра 104; родной 67; мой 50; старший 49; друг 14; младший, сват 10...», «сестра: брат 97; милосердия 68; родная 52; моя 33; старшая 22; Керри 17; младшая 13; милосердие 10...» (Там же, с. 44, 140, 45, 47, 166, 77, 41, 19, 149).

Стимулы «мать/мама» и «отец/папа» провоцируют появление почти тавтологических – по своей смысловой тональности – иррадиатов: ср.: «мать: отец 65; родная 64; моя 37; любимая 20; добрая 17; героиня, женщина 14; Родина, твою 13; мама 12; дочь 10...» и «мама: папа 77; моя 45; родная 44; любимая 39; милая 29; добрая 24; дорогая 14; дом мама 10...» (Там же, с. 79, 78), «отец: мать 93; родной 56; семейства 32; мой 30; добрый 15; дом, сын 13; папа 11...» и «папа: мама 109; мой 42; добрый 19; любимый 18; отец 17; хороший 15; родной 13; римский 11...» (Там же, с. 79, 78, 107, 111).

Распределение иррадиатов, спровоцированных остальными стимулами, таково: «деньги: большие 41; много 19; бешеные, кошелек 14; золото 12; бумага, крупные, нужны 11; мало 10...», «помощь: скорая 90; другу 27; медицинская 18; нужна 16; в беде 11; друг, товарищу 10...», «праздник: веселый 53; Новый год 24; веселье 23; 1 мая, детства, души 20; радость 13; весны 11; Октября 10...», «беседа: разговор 66; интересная 21; долгая, дружеская 13; с другом 12; беседка, душевная, по душам 11; наедине 10...», «спор: горячий 26; жаркий 20; разговор 17; драка 14; долгий 13; друзей 12; истина, спорт 10...», «мучение: учение 41; боль 22; страдание 14; адское 13; мука 12; долгое 11; сильное, совести 10...», «ложь: правда 81; святая 46; неправда 24; сладкая 16; вранье, обман, плохо 13; гнусная 11...», «будничный: день 35; праздничный 10...» (Там же, с. 43, 124, 128, 16, 159, 84, 75, 20).

По-видимому, эту группу иррадиатов (ГИ-2) следует рассматривать как противопоставленную цепочке иррадиатов (ГИ-1), соотношенных со стимулами «муж...папа» (всего их – 17): ГИ-2 – это группа с предельно слабой *степенью ассоциативного родства* – семейного несходства, а группа ГИ-1 – группа с предельно сильной степенью ассоциативного родства («семейного сходства», см.: Витгенштейн 1994, 111–115).

И все-таки их ассоциативные шлейфы не совсем несовместимы: в пользу этого может послужить рассмотрение гнезда иррадиатов, выводящих на исходный стимул: 1) деньги: «...золото...16; ...мало...7; ...много 4; ...папа...3; бумага..., вранье..., девочка..., мужчина...1», 2) помощь: «...скорый...10; ...друг..., женщинам..., мама..., матерям..., об отце..., товарищам...1», 3) праздник: «...веселый... 15; женский ...7; ...детский...2; ...дети..., мамам...1», 4) беседа: «...разговор...22», 5) спор: «...беседа...3; разговор...2», 6) мучение: «...страдание...10; ...мука..., учиться...1», 7) ложь: «...неправда ...208; ...вранье...64; ...обман...9», 8) будничной: отсутствие совпадений (Русский ассоциативный словарь 1994, т. 2, с. 71, 238, 244, 14, 297, 160, 143, 21).

Аналогичная ситуация наблюдается и в ГИ-1: 1) мужчина: «...женщина...71; ...сильный...51; ...высокий...32; ...муж...13; ...папа...7; ...отец ...6; ...брат...4; женщинам, женщине...2; ...ребенок..., сын... 1», 2) женщина: «мужчина 88; ...мать...14; ...девочка 12; жена 7; ...дочь...2; ...мама, матерям..., мужьями..., ребяенок...1», 3) муж: «...жена 81; ...хороший 16; ...семья 6, ...брат... мой, мужчина..., отец..., вранье..., дети..., дочь..., мальчик..., ребяенок 1, 4) жена: «муж 106; ...мама, ...семья 2; беседа..., девочка..., женщин..., ложь, мать...1», 5) любить: «...женщину 20; девушку 19; ...маму 15; ...очень 6; ...жить 9; ...мать...2; ...дочь, жена..., милый, мужу..., мука, мучение...1» (Там же, 87, 88, 145, 159–160,) (остальные иррадиаты мы в данном случае не приводим).

Но именно эта частичная совместимость лишней раз указывает, как это ни парадоксально, на разную ценностно-смысловую аранжировку иррадиатов, общих для ГИ-2 и ГИ-1, ибо их цепочки можно рассматривать как *обоюдные ассоциативные метатезы*.

На мой взгляд, в ГИ-1 представлены единицы, чьи смыслы позволительно квалифицировать как *автономно-закрытые*, а единицы, представленные в ГИ-2, – как *автономно-открытые* (толерантные к любым смыслам, существующим в вербально-ассоциативной сети).

(Примечание. На автономную открытость смыслов указывают и малочастотные, и единичные реакции, являющиеся теми ас-

социативно-семасиологическими резервами, на счет которых и следует записывать все смещения и перестановки в поле *семиологического внимания* испытуемых).

Такой характеристике ГИ-1 и ГИ-2 можно, конечно, противопоставить следующее возражение: единицы, входящие в них, выбраны случайно, а связь между ними – лишь постулируется. Рискну парировать его указанием на презумпцию взаимосвязи и взаимоосмысленности всех элементов вербально-ассоциативной сети, о которой пишет и Ю. Н. Караулов, утверждая, что в словаре «содержится информация, которая относится ко всем трем уровням языковой личности: грамматико-семантическому (т.е. «языковому» в узком смысле слова), когнитивному (или уровню знаний о мире) и прагматическому. <...> Аналогия между стимулом и реакцией проявляется как в подобии формы и категориальных признаков, так и в сходстве их содержания» (Караулов 1994. Т. 1. С. 193).

Строительным блоком словаря является не только «модель двух слов» (Караулов 1994. Т. 1. С. 208), но и *модель обоюдной метатезы смыслов*, в рамках которой наблюдается соположение сходного и различного и сходного в различном. На это сложное взаимодействие указывают *индексы иррадиации – общей и специфической*, – которые, например, для лексем «мужчина» и «женщина», «деньги» и «помощь» таковы: 2,1 и 1,03 – индексы общей и специфической иррадиации первой лексемы (547:209, где 547 – общее количество реакций, а 209 – общее количество частот-иррадиаций, спровоцированных появлением этой лексемы), 2,6 и 1,04 – индексы общей и специфической иррадиации второй лексемы (557: 213 и 223: 213), 5,01 и 2,2 – индексы общей и специфической иррадиации третьей лексемы (537:107 и 245:107), 3,1 и 1,1 – индексы общей и частной иррадиации четвертой лексемы (537:172 и 202:172). Короче говоря, «...мы говорим об операции, согласно которой две вещи или два определения утверждаются благодаря их различию, то есть что они становятся объектами одновременного утверждения только потому, что утверждается их различие, ибо оно само утвердительно» (Делёз 1995, 208).

По-видимому, иррадирующие ассоциативные цепочки есть не что иное, как *имплексы* (свернутая совокупность фактов; о них см.: Мамардашвили 1995, 214–216), расстояния между которыми – это «...ментальные или топологические расстояния, расстояния в терминах различия размерностей, позволяющих (или не позволяющих) нам воспринять что-то» (Мамардашвили 1995, 256).

(Примечание. Эти различия размерностей маркированы и вербально, и ментально-культурально). Иррадиаты – это *мемы* (культуральные гены; о них см.: Келлер 1997, 258–268) или «динамически переформированные морфы» (о них см.: Зинченко 1997, 282–286) – совокупность предшествующих образов, целей и идей.

(Примечание. В связи с этим напрашивается различение динамически перформированных *лингвоморфов* и *культуроморфов* в составе такого же *лингвокультурального генома*). Иррадирующие цепочки – это *мематические ансамбли* (ср. с *Нематическими ансамблями* Н. А. Рубакина), подчиняющиеся правилам *поведенческой и семиологической (языковой/речевой) селекции* (см. в связи с этим: Келлер 1997, 266–268), предопределяющей распределение когитивно-когнитивных и аффективно-эмотивных фокусов внимания носителей языка. Словом, это распределение фокусов стилистики существования, о которой писал М. Фуко (Фуко 1996, 309–326, 387).

(Примечание. Очевидно, следует считать, что таких стилистик две: *бихевиориальная* и *логосическая*).

Литература

- Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994.
Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995.
Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997.
Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь. Т. 1. М., 1994.
Келлер Р. Языковые изменения. О невидимой руке в языке. Самара, 1997.

Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М., 1995.

Русский ассоциативный словарь. Т. 1. М., 1994.

Русский ассоциативный словарь. Т. 2. М., 1994.

Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.

§18. Эмоциональность или эмотивность? Или ни то и ни другое?

1. По-видимому, никто не будет отрицать тот факт, что понятия эмоциональность и эмоция преимущественно употребляются психологами, а не лингвистами, которые, используя эти два понятия, пытаются предложить и некоторые другие, например, эмотивность и эмотив (см. в связи с этим: Болотов 2001). Поиск конкурирующих понятий лингвистами обусловлен тем, что они осознают эфемерность и условность вербальной характеристики эмоций, весьма приблизительно/неконкретно указывающих на реальное «жизненное пространство» (К. Левин). П. В. Перфильева предлагает называть такие вербализмы эмонамами (Перфильева 2001), подчеркивая тем самым их сугубо логосический характер.

2. Показателен также и подход Е. Ю. Мягковой (Мягкова 2000), считающей, что одним из основных компонентов значения слова является эмоционально-чувственный компонент (о других компонентах значения/смысла слова и текста см., в частности: Язык и эмоции 1995, Шаховский, Сорокин, Томашева 1998), специфицирующий отношение человека к себе, миру и к другим людям. Фиксация этого компонента весьма сложна в силу его комплексности: он есть не что иное, как совокупность процессов разного уровня осознаваемости, социальной и этнокультурной опосредованности (Мягкова 2000, 92–93). Ср. с этим следующие рассуждения В. К. Виллонаса: «“Единицей” ситуативного развития мотивации является отдельный акт эмоционального переключения, лежащий в основе, в частности, мотивационного обусловливания. <...> Поскольку

одни и те же предметы могут иметь то или иное отношение к целому множеству потребностей и сложившихся мотивационных отношений человека, их мотивационное значение, как правило, является комплексом, полипотребностным, а вызываемая ими активность – полимотивированной. Уникальность, неповторимость таких поливалентных, в частности амбивалентных, мотивационных отношений затрудняет их систематизацию» (Вилюнас 1990, 246–247).

Положение осложняется также и тем, что «в действительности никаких мотивов не существует. <...> Во-первых, ... мотивы ненаблюдаемы непосредственно и в этом смысле они не могут быть представлены как факты действительности. Во-вторых, они не являются рангами в смысле реальных предметов, доступных нашему прямому наблюдению. Они суть условные, облегчающие понимание, вспомогательные конструкты нашего мышления, или, говоря языком эмпиризма, гипотетические конструкты» (Хекхаузен 1986, 1, 37). Но если мотивы «иллюзорны» – то вдвойне «иллюзорно» эмоциональное переключение, и тем более «иллюзорны» эмономы/эмоции, лишь указывающие на те или иные витально-ментальные состояния. Говоря иначе, эмономы/эмоции – это нечто «вне-размерное», некоторая гипотетическая шкала состояний, на которой не указаны баллы, нечто родовое и представимое лишь в виде таких видовых единичностей, как чувство и аффект, причем аффект есть не что иное, как предельное/максимальное состояние того или иного чувства. Именно они и заполняют то гедоническое (эвдемническое) и антигедоническое (антиэвдемническое) пространство, которое «окружает» человека. Естественно, что чувства соотносены с когнитивно-когнитивными ансамблями и с волей (в минимальной степени?), оказываясь тем самым непростым образованием, для уяснения которого необходимо использовать иносказательный инструментарий (метаболы). Вместе с тем – и, по-видимому, в большинстве случаев – характер этого пространства может осознаваться почти мгновенно, что позволяет говорить о существовании соматического инсайта, в основе которого лежат те или иные соматические гештальты (ср. с эмоциональным гештальтом Л. М. Веккера).

3. Иными словами, для лингвистов и психолингвистов основной задачей является изучение соматической семантики, фактический материал для которой поставляют (вербальная) сентитика (от англ. *sense*) и (вербальная) аффективика, в рамках которой собираются и классифицируются и эмономы, и сопряженные с ними ситуации (мужские, женские и смешанные варианты поведения синхронического и диахронического характера, этнокультуральные ограничения, накладываемые на это поведение, способы замещения или ухода от нежелательных состояний/переживаний и т.д. и т.п.).

4. Безусловно, такой вербальный материал крайне полезен, но он недостаточен. Его необходимо совмещать с данными относительно личностных (психотипических) особенностей участников общения, находящихся в той или иной точке витально-ментального пространства. Иными словами, необходимо изучать не только вербальные и интервербальные переживания (вербальные и интервербальные пространства), но и переживания суправербальные (суправербальные пространства; см. в связи о этом: Рубакин 1977), в основе которых лежит конфликтное взаимодействие между Анимой и Анимусом (и их Тенями) (см. в связи о этом: Юнг 1994, 1997).

Литература

Болотов В. И. Имя собственное, имя нарицательное. Эмоциональность текста. Лингвистические и методические заметки. Ташкент, 2001

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М., 1990.

Мягкова Е. Ю. Эмоционально-чувственный компонент значения слова. Курск, 2000.

Перфильева С. Ю. Теоретико-экспериментальное исследование слов-названий эмоций и их функционирования. Автореф. ... канд. филол. наук. М., 2001.

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М., 1977.

Хекхаузен К. Мотивация и деятельность. Т. 1. М., 1986.

Шаховский В. И., Сорокин Ю. А., Томашева И. В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград, 1998.

Юнг К. Г. Психология бессознательного. М., 1994.

Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. СПб.–М., 1997.

Язык и эмоции // Сборник научных трудов. Волгоград, 1995.

§19. «Романтические эссе» А. Р. Лурия и их эвристическая ценность

1. «Маленькая книжка о большой памяти» и «Потерянный и возвращенный мир» – это не только образцы научных сочинений «романтического» характера. Это – попытки перехода от фрагментарности описания человеческой личности к реконструкции ее как некоторой целостности, хотя и паталогически аранжированной.

2. Если психология и психолингвистика хотят сохранить себя в качестве антропоФИЛЬНЫХ (а не антропоЦЕНТРИЧЕСКИХ) наук, то выявление структуры языковой (см., например: Караулов 1987), а точнее, семиотической личности и установление взаимосвязей между семиотическими «алфавитами» и «алфавитами» когнитивов и концептов, эмотивов и аксиологем являются в настоящее время актуальнейшими задачами и «классических», и «романтических» научных исследований.

3. Исходя из описаний, представленных в «Романтических эссе», можно, по-видимому, утверждать, что к таким блокам языковой/семиотической личности, как лексикон, грамматикон, семантикон и прагматикон (см.: Караулов 1987, 84–101), целесообразно добавить еще один блок – ДЕСТРУКТИВИКОН/ПАТАЛОГИКОН, смещающий в вербальном и невербальном поведении личности узловые акценты.

4. Представляется также оправданным считать, что в блоке семантикона существует и подблок ФОНОСЕМАНТИКОН, а блок лексикона есть совокупность двух подблоков – вербального (ВЕРБОЛЕКСИКОН) и визуального (ВИЗУОЛЕКСИКОН).

5. Немаловажным представляется и обсуждение вопроса о связи синестезической и фоносемантической чувствительности/сверх-

чувствительности с семантизирующим, когнитивным и распредмечивающим пониманием (о них см., например: Богин 1993, 105–109). Из данных, приводимых А. Р. Лурия, следует, что «застревание» С. В. Шерешевского на когнитивном уровне понимания поэтических текстов (блокировка распредмечивающего понимания) обусловлено, как это ни парадоксально, его синестезической и фоносемантической сверхчувствительностью, хотя когитивно-когнитивная сверхчувствительность и позволяет ему фиксировать логико-семантические противоречия (лакуны) в прозаических художественных текстах (см.: А. Р. Лурия. «Романтические эссе». М., 1996, 59–60).

(Примечание. Не позволительно ли тогда говорить, что в языковую (семиотическую) личность встроены и ЛАКУНИКОН?).

6. В разделе о Л. Засецком содержатся фрагменты, также являющиеся весьма существенными для уяснения характера составляющих ДЕСТРУКТИВИКОНА.

А. Р. Лурия пытается, например, объяснить непонимание Л. Засецким некоторых высказываний (см. С. 208–209) или «сложностью грамматических структур», противопоставляя их «простым» структурам, хотя продуктивнее было бы связывать понимание или непонимание тех или иных высказываний с установкой одних носителей языка на обыденное, а других – на суперобыденное описание ситуации. Или объясняет помехи в семантизирующем понимании (С. 205–206) сложностью усвоения атрибутивного родительного (родительного определительного/присубстантивного), хотя целесообразнее было бы рассматривать их как следствие неразличения когитивно-когнитивного веса ролей, «обслуживающих» ситуации межличностного общения. См. также и стр. 192, на которой, на наш взгляд, описывается процесс расслоения фрейма (точнее, фрагмента) на автономные визуальные и вербальные слоты.

§ 20. «Сны Чанга»: попытка отгадки

1. В сборнике «И. А. Бунин: Диалог с миром» (Бунин 1999) Р. Е. Гергель пишет: «Если выразить мировоззрение Бунина посредством философских терминов, то можно сказать, что он при-

держивался пантеистически-даоистских взглядов. В рассказах «Братья» и «Сны Чанга» отчетливо прослеживается влияние индийской и старокитайской философии <...> Вводя в качестве героя собаку Чанг (sic!), Бунин говорит, что на свете, кроме двух, есть еще одна правда – третья. Эту третью правду Бунин понимает как Дао, Едино-Вечное, Бытие» (Гергель 1999, 73). В свою очередь Е. К. Созина следующим образом характеризует основную целевую установку Бунина: «Выйти «из Цепи» и слиться со Всеединым (рассказ «Ночь») – это значит вернуться к Совершенной, божественной Пустоте, которой так долго не давало ему зеркало бытия. Наконец, даже взгляд на самого себя как на нечто прерывистое, множественность «я» «внутри нас», о чем пишет Ю. Мальцев и что действительно характерно для новаторски «модернистского» психологизма Бунина, также вполне соотносится с буддийской психологией...» (Созина 1999, 62).

2. Не обжудая правомерности этих утверждений (к ним придется вернуться позже), укажу на тот факт, что «произведение как индивидуальный опыт умопостигаемо, но не исчислимо» (Эко 1998, 87), а эстетическая информация «есть не что иное, как ряд возможных интерпретаций, не улавливаемых никакой теорией коммуникации. Семиология и любая эстетика семиологического толка всегда в состоянии сказать, чем может стать произведение, но никогда, чем оно стало» (Эко 1999, 87). Следует также учитывать, что «образный отклик (а любое истолкование художественного текста и является в сущности таким откликом – Ю. С.) регистрирует факт «узнавания» (либо, напротив, «неузнавания») соответствующего языкового выражения, а не его понимание в собственном смысле. Достаточно того, что мы опознали образ, даже если нам не удастся как следует «разглядеть, в чем его сущность» (Гаспаров 1996, 261). Не менее важно для разгадки смыслов прозы Бунина и то соображение, что характерной – хотя, быть может, не обязательной, – чертой образного отклика, вызываемого тропом, является эффект палимпсестного наложения одних образных представлений на другие. Не только различные аспекты образного представления – картинный, иероглифический, кинетический, графический – мо-

гут соучаствовать в создании той или иной образной продукции, но и сами эти различные проекции способны выступать в представлении говорящего во взаимном наложении – как бы в виде нескольких фотографических снимков, снятых на один кадр. Если такой эффект возникает – он переживается говорящим субъектом как эффект «переноса» значения (Гаспаров 1996, 263–264).

3. В «Снах Чанга» (см.: Бунин 1966, 370–385) принцип палимпсестного наложения проводится вполне эксплицитно. Во-первых, используются прецедентные тексты, отсылающие к христианскому культуральному фонду: а) «Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» (Бунин 1966, 371), б) «О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» (Там же, 384), в) «Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи – женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!» (Там же, 383), г) «Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее – к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой» (Там же, 383). Во фрагменте а) представлены две ссылки – на книгу Иова и на книгу Экклезиаста, но на самом деле ссылка на книгу Иова ложна, ибо цитируется Экклезиаст (конец первого высказывания в разделе «3. Призыв жизни для Бога», а во фрагменте б) выборочное цитирование сочетается с «переструктуриацией» исходного текста. Ср.: «И помни Создателя своего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!». 2 Доколе не померкли солнце и свет

и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. 3 В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молотить мелющие, потому что их немного осталось; и помирачатся смотрящие в окно; 4 и запираются будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения; 5 и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; 6 доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбилась кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезом. 7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его. 8 Суета сует, сказал Екклесиаст, все – суета!» (Библия 1983, 895–896, 12. 1–8).

Бунин искусно и изящно имитирует принадлежность своего текста (фрагмент «а») к исходному, усиливая его суггестивность ложным прецедентом – ссылкой на книгу Иова, в которой, конечно, можно найти соответствующие парафразы: «Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне <...> Дни мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды» (Библия 1983, 659, 7. 2–3, 6); «И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня. <...> Мои внутренности кипят, и не перестают; встретили меня дни печали» (Там же 683, 30. 16–18, 27).

Во фрагментах в) и г) также наблюдается аналогичная картина: цитатные усечения, стилистические замены и стилистико-синтаксическая перекомпоновка. Ср.: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и – безрассудная (Библия 1983, 858, 11. 22); «коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими; спальню надушила смироною, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностью до утра, насладимся любовью; потому что мужа нет дома; он отправился в дальнюю дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния» (Там же,

852–853, 7. 16–20, книга Притчей Соломоновых) (подчеркнуты использованные Буниным высказывания).

Во-вторых, в бунинском рассказе используются отсылки к культуральному субстрату даосско-буддийского характера: д) «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному – от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать – тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее» (Бунин 1966, 377); «...ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и охлаждал густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну» (Там же, 381); «...если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, – третья, – а какая она – про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг» (Там же, 365).

Попробуем дать представление о самом главном – о выдуманном китайцами Тао/Дао (Пути): «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо» (Древнекитайская философия 1972, 116), ср.: «Дао пусто, но благодаря ему существует все и не переполняется» (Лао-цзы 1992, 12), «...превращения невидимого [дао] бесконечны. [Дао] – глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата рождения – корень неба и земли. [Оно] существует [вечно] подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо» (Древнекитайская фи-

лософия 1972, 116), ср.: «Дух горной ложины не умирает, он есть Невидимая Праматерь, что скрыта по тьме. Неведомая Праматерь – это проход, она является корнем Неба и Земли. Тянется беспрерывно, словно живая нить, все в работе, в трудах, а не устает ничуть!» (Лао-цзы 1992, 14), «Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется [с ними]. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао» (Древнекитайская философия 1972, 117), ср.: «Высшая добродетель подобна воде. Вода дарит благо всей тьме существ, но не ради заслуг. Жить в покое, вдали от дел – вот то, чего избегают люди, но только так и можно приблизиться к истинному Пути» (Лао-цзы 1992, 16), «Когда дело завершено, человек должен устраниваться. В этом закон небесного дао» (Древнекитайская философия 1972, 117), ср.: «Истинное достижение – это освободиться от того, что обычно свойственно человеку. Именно таков путь Неба» (Лао-цзы 1992, 18), «...оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. Придерживаясь древнего дао, чтобы овладеть существующими вещами, можно познать древнее начало. Это называется принципом дао» (Древнекитайская философия 1972, 118–119), ср.: «Тянется, не прерываясь ни на миг, а по имени не назовешь. Круг за кругом все в него возвращается, а вещей там никаких нет... Вот что называется иметь облик, которого нет, обладать существованием, не будучи вещью. Вот что называется быть неясным и смутным подобно утренней дымке. Встречаю его, но не вижу его лица, следую за ним, но не вижу его спины. Строго придерживаясь искусства Пути древних, ты достигнешь полноты управления настоящим, познаешь глубочайший исток вещей. Это и называется знанием основ Пути» (Лао-цзы 1992, 27), «...содержание великого дэ подчиняется только дао. Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко и тем-

но. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начало всех вещей. Только благодаря ему» (Древнекитайская философия 1972, 121), ср.: «Непостижимое Дэ – это то, что наполняет форму вещей, но происходит оно из Дао. Дао – это то, что движет вещами, путь его загадочен и непостижим. Такое неясное, такое смутное! Но суть его обладает формой. Такое смутное, такое неясное! Но суть его обладает существованием. Такое глубокое, такое таинственное! Но суть его обладает силой. Сила его превосходит все, что существует в мире, и суть его можно узреть. С древности и до наших дней не иссякнет голос его, несущий волю Отца всей тьмы вещей. Где же могу я узреть облик Отца всех вещей? Повсюду» (Лао-цзы 1992, 38), «...когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали. Как ничтожна разница между обещанием и лестью и как велика разница между добром и злом! Надо избегать того, чего люди боятся. О! Как хаотичен [мир], где все еще не установлен порядок. Все люди радостны, как будто присутствуют на торжественном угощении или празднуют наступление весны. Только я один спокоен и не выставляю себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир. О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться. Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего. Я сердце глупого человека. О, как оно пусто! Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во мрак. Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в мирском просторе и не знает, где ему остановиться. Все люди проявляют свои способности, и только я один похож на глупого и низкого...» (Древнекитайская философия 1972, 120–121), ср.: «Перестань хранить верность вещам, к которым привязан, и ты освободишься от горя и тоски. Только так можно обрести опору в жизни, разве не стоит ради этого отказаться от взаимных упований и надежд? Пытаясь оказать добро другим, мы причиняем им зло, разве не стоит нам отказаться от этого? То, чего страшатся люди, чего они не могут не бояться, так это

оказаться в одиночестве, оставленным [и] всеми, но никому не миновать этого! А пока все люди предаются веселью, словно справляя великое жертвоприношение, словно празднуя приход Весны. Один лишь я тих и незаметен, словно то, что еще не появилось на свет, словно младенец, который еще не умеет смеяться. Такой усталый, такой грустный! Подобно страннику, навеки утратившему возможность вернуться назад. Все люди держатся за свое «я», один лишь я выбрал отказаться от этого. Мое сердце подобно сердцу глупого человека, – такое темное, такое неясное! Повседневный мир людей ясен и очевиден, один лишь я живу в мире смутном, подобном вечерним сумеркам. Повседневный мир людей распisan до мелочей, один лишь я живу в мире непонятном и загадочном. Как озеро, я спокоен и тих. Неостановимый, подобно дыханию ветра! Людям всегда есть чем заняться, один лишь я живу беззаботно, подобно невежественному дикарю. Лишь я один отличаюсь от других тем, что превыше всего ценю корень жизни, мать всего живого» (Лао-цзы 1992, 35–36) (см. в связи с этим также: Ян Хиншун 1984).

4. Обсуждая трактат второго патриарха даосизма – Чжуан-цзы, В. В. Малявин приходит к выводу, что Путь – это путь непрерывных превращений одной субстанции в другую, природного в человеческое и человеческого в природное. Путь сердца, открытого Великой Пустоте, поток сознания, который одномоментно есть, говоря словами Э. Гуссерля, и ретенция, и репродукция, и протенция (Гуссерль 1994, 49–56), поток бытия, в котором факт неотличим от артефакта и ментефакта, путь самоосвобождения в незнании и забвении и путь радости, когда сокрытое и явное чередуются, «да» и «нет» взаимозаменяемы, и человек играет с миром, и мир играет с человеком, и эта игра равноценна, и ею надо болеть, быть безумным и смеющимся, ибо Дао – это «Застава без ворот» (Малявин 1995, 21, 22–23, 24, 27, 35, 38, 50). Короче говоря, для даоса «мир – это вместилище духа, вещь чудесная и загадочная, и нельзя обладать им» (Лао-цзы 1992, 52). Быть даосом значит не различать, к какому миру принадлежишь и кем являешься: «Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой –

счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она – Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я – Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она – Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей» (Чжуан-цзы. Ле-цзы 1995, 73).

5. Вряд ли можно предположить, опираясь на когнитивный контекст и «Снов Чанга», и бунинского творчества в целом (см., например: Адамович 1996, 37–52), чтобы Ивану Алексеевичу Бунину и его персонажам приснился такой сон: они живут и мыслят в иной системе координат, согласно которой «определенность» мира и человека и их раздельность – несомненны. Мир для них прельстителен, он – соблазн тварный, и они не хотят с этим соблазном расставаться, убеждая себя, что останутся в нем, если найдут третью правду, тот секрет мира, на котором он держится. Иными словами, Песнь Песней и Притчи Соломоновы им ближе, чем медитации Лаоцзы и Чжуанцзы, хотя они и подозревают, что мир – это не только знакомство, но и загадка, энигма (см. в связи с этим: Книга прозрений 1997, 85–110), нечто сокрыто-открытое в запахе белой акации. Иными словами, они – на пути к Пути, они уже идут, но еще не пришли к «Заставе без ворот». Именно поэтому нельзя согласиться с тем, что Бунин «придерживался пантеистически-даоистских взглядов»: их нельзя придерживаться, ибо даосизм – это форма спонтанного самоосуществления, его нельзя помыслить и примыслить. Им можно лишь жить. Утверждение относительно множественности «я» «внутри нас», присущей новаторски «модернистскому» психологизму Бунина, соотносимо с таким же подходом в буддизме, также представляется спорным: дело в том, что в раннем буддизме санскара (кармические импульсы), программирующая психику человека, понималась не иначе, как чередование дхарм (совокупностью таких чередований является и нама-рупа – психофизическая структура индивида, и виджняна – его «сознание»). Иными словами, в раннем

буддизме человек и его психика рассматривались в качестве дискретных по структуре и континуальных по способу своего существования «образований» (Лысенко 1994, 89–90, 96–111). Считается, что «... в буддизме нет понятия субъекта, агента, автора действия. Вместо западного понятия личности как некоего тождества во времени, самотождественного бытия, мы встречаем представление об индивиде как потоке становления, в котором ни один момент не равен другому, но вместе с тем все моменты – дхармы – взаимообусловлены» (Лысенко 1994, 105).

6. Но что же все-таки снится Чангу? В двух снах и в третьем полусне («Да, так как это было? – не то снится, не то думается ему» (Бунин 1966, 380) он видит себя вернувшимся в мир людей: на это прямо указывает его имя – Чанг, которое вполне допустимо истолковывать как Возвратившийся/Вознагражденный/Испытываемый (см. в связи с этим: Большой китайско-русский словарь 1984, т. 4, 685, №13867; 1983, т. 2, 587, №2589). Он вернулся от Хозяина, к которому ему снова придется уйти, чтобы напомнить не о суете сует, а о вечном возвращении и о родстве всего, что встречается на Пути, о его правде – просветлении в те минуты, когда «Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек...» (Бунин 1966, 375), когда капитан, «...приложив щеку к его бьющемуся сердцу, – ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! – пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем...» (Там же, 381). Короче говоря, сны Чанга – это сны побывавшего у «Заставы без ворот».

Литература

Адамович Г. Одиночество и свобода. М., 1996.

Библия. Книга Священного писания Ветхого и Нового завета в русском переводе с приложениями. Второе издание. Брюссель, 1983.

Бунин И. А. Собрание сочинений. Повести и рассказы, 1912–1916. Т. 4. М., 1966.

Бунин И. А. Диалог с миром. Воронеж, 1999.

Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Гергель Р. Е. Эстетическая рентгенограмма жизни: к вопросу о мировоззрении И. А. Бунина // И. А. Бунин: Диалог с миром. Воронеж. 1999.

Гуссерль Э. Собрание сочинений. Феноменология внутреннего сознания времени. Т. 1. М., 1994.

Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1. М., 1972.

Книга прозрений. М., 1977.

Лао-цзы. Книга о Пути и Силе. Новосибирск, 1992.

Лысенко В. Г. Введение в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.

Малявин В. В. Мудрость «безумных речей» // Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995.

Созина Е. К. Символика зеркала в прозе Бунина // И. А. Бунин: Диалог с миром. Воронеж, 1999.

Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

Ян Хиншун. Материалистическая мысль в древнем Китае. М., 1984.

§21. Несколько безнадежных мыслей о современной поэзии

С ними повременю и сделаю такую оговорку: рассуждать о поэзии и подкреплять свои рассуждения цитатами – бесполезное дело. Эдакая «старая забава... дедовских времен».

Поэтому чем меньше цитат – тем лучше. Доказывающих лишь то, что они существуют. А вот перебирать фамилии – эти знаки

поэтических миров – видимо, имеет смысл: они для читающего выступают как обобщение речевого материала, представляющего те или иные предметно-образные ценности. Поэтому чем больше фамилий – тем лучше (но как получится – не знаю).

Итак, жила-была на свете поэзия. Даже в застойные времена. Порционно и с соответствующими разъяснениями издавали Пастернака, Мандельштама и Цветаеву. Читала их – горстка (в том числе сушие и бывшие поэты).

Другие говорили, что предпочитают Светлова, Щипачева и Асадова, вскользь упоминая Антокольского и Асеева, Есенина и Тихонова. Таких тоже можно было счесть по пальцам, но так как нас миллионы – цифра получалась солидная.

Сейчас ситуация опрозрачилась. Предпочитающих стихи тех, кого называют мэтрами, стало меньше. А светловско-щипачевско-асадовские поклонники и поклонницы вздохнули с облегчением: они освободились от навязываемой им социальной роли духовно развивающихся в нужном направлении. Они огляделись и выбрали детективы и «генитальную» литературу – свою и зарубежную.

Иконы мэтров и сегодня стоят в божницах, но им больше не молятся: сумнительной кажется вся их суть.

Поэтические паломники клянутся, что ходили и в Мекку, и в Иерусалим (с заходом на Афон и в Петербург). И такие путешествия им понравились. Отчетом о своих хождениях хаджи стараются заинтересовать читателей: Пригов и Рубинштейн – усомнившихся, Кибиров и изредка Щербина – «генитальных». Конечно, существуют и те, кто по-домашнему («не выходя за околицу») поминает обэриутских божков (Некрасов), или остановился на полпути, решив, не дожидаясь конца хаджа, выпарить смесь из ссылок и реминисценций, быта и трансцендентности (Шварц).

Между собой хаджи стараются не спорить. А если и не соглашаются, то по поводу высоких материй: авангардизма, модернизма и постмодернизма, с грехом пополам излагая мысли Ролана Барта и стараясь не упоминать Бориса Гройса.

И все-таки различие между паломниками существует. И оно реальнее их рассуждений, например, о синтезе искусств или о принципе комбинирования словесных масс, позволяющего обеспечить объемность их восприятия.

Это (неосознаваемое) различие, по-видимому, «генотипично», позволяя говорить о «московских» и «петербургских» поэтах.

«Петебуржцы» – принципиально сюжетны. Они – рассказчики/нарративисты. Их ближайшие предки – Гумилев и Ахматова. И особенно Анна Андреевна, убедившая многих, что силу сюжетности придают наглядные детали: собирайте любой сор для стихов, они из него и растут, и почаще надевайте на правую руку перчатку с левой руки.

По такому же пути шел Бродский, хотя, проживи дольше, он, как мне кажется, сошел бы с него: если язык «говорит» (а к этому Бродский склонялся), то «говорит» сбивчато и путано, глубоко и поверхностно, играя диахроническими и синхроническими слоями, указывающими на многомерность и антилогику сознания.

По этому пути идет и Рейн, пытаюсь инвентаризировать мир и написать книгу книг, которой позавидовал бы Борхес.

Среди «московских» поэтов «петербуржцами» можно считать Гандлевского (предельный случай избыточной и вторичной сюжетности) и Еременко, а среди «петербургских» – «москвичкой» явно оказывается Шварц.

«Москвичи» – принципиально антисюжетны. Они – антирасказчики и интуитивисты. Таков, например, Иван Жданов (один из лучших), но таков и крымчанин Сергей Соловьев.

Парафрастически говоря, для «москвичей» подсознательно важно правило Шитао – правило Единой Черты кисти, позволяющее отождествиться с вещью и видеть ее изнутри. Позволяющее стать образом, говорящим и косноязычно, и нелинейно, непоследовательно и противоречиво. Стать говорящим человеком, а не человеком говорения.

Может быть, эти различия между «москвичами» и «петербуржцами» объясняют внимание первых и равнодушие вторых к вер-

либру, ибо верлибр (см., например, Бурича и Метса, но не Моротскую) не рассказывает, а показывает, стремясь быть единой чертой кисти. Для показа безразлична форма речи (рифмованная или нерифмованная), для рассказа важны опорные точки краесогласия, позволяющие сбалансировать и шаблонизировать мысль-образ.

И «петербуржцы» (в меньшей мере), и «москвичи» (в большей мере) стараются – формально или неформально – объединяться в сообщества. Или объявляют себя сторонниками того или иного литературного направления (например, концептуалисты, иронисты и т.п.), забывая, что понятие литературной школы (литературного направления) возникает, как это показал Ю. Н. Тынянов, после завершения ее развития и в результате реконструкции литературного процесса.

И те, и другие забывают, что, хотя свято место пусто не бывает, оно не заполняется волевым усилием (перформансом) или за счет металитературных молитв. А того и другого сейчас хватает.

Еще одной особенностью нашей литературной жизни является лихорадочное собирательство: почти все ищут медь для памятников и приноравливаются к пьедесталам. Отсюда – качели оценки, завистливая дружба и расчетливая благожелательность.

Поэты и прежде, собравшись в круг, любили всласть оплевывать друг друга. Но сейчас они, по-моему, плюются смачнее и гуще. И не потому, что разрушился привычный мир. Говорящие так – лгут: мир поэта вечен в той мере, в какой вечны базовые человеческие ценности.

И все-таки у поэтов (и у прозаиков) возрастает чувство своей ненужности, усугубляемое укрепляющейся уверенностью в том, что они живут не только в подменном, но и во враждебном мире, стремящемся «иметь», но не велящем «быть». В мире, гонящем их от себя.

Поэты были и остаются одинокими (плата за эгоцентризм). Раньше они верили в посмертное вознаграждение. Теперь веры не осталось. Они превратились в бомжей господних.

И самое главное: они чувствуют, что поэзия уходит за кудыкины горы. И лишь СТИХИ – остаются.

Чувствуют, что вокруг избыток живых и мертвых душ. И очень мало – интересных.

§22. Аида Ясколка – давайте вспомним ее

Четверть века назад я написал небольшое предисловие к сборнику стихотворений Аиды Ясколки. Но судьба судила иначе: и сборник остался в рукописи, и предисловие было уничтожено. Вместе с другими – но уже – чужими – статьями самиздатовского характера и стихами самиздатовских поэтов (например, Юрия Галанскова): иногда наступали такие дни, когда непозволительным оказывалось замешивать в свои дела других людей, а хранить их рукописи (или машинописные варианты рукописей) – преступно. Наверно, поэтому от шестидесятых годов сохранится мало свидетельских показаний: они были уликой (даже письма), им не доверяли, полагаясь в основном на устную речь (с глазу на глаз, но не по телефону).

Нового предисловия – предисловия, в котором разбирались бы и оценивались стихи А. Ясколки, я писать не буду: под рукой у меня только часть стихов, а их – много в той книге, которую готовит А. Ясколка и которая называется «Вольная воля». Да и сегодняшнему читателю вряд ли нужны такие предисловия (пусть даже написанные «нормальным» языком). Времена – и давно – уже наступили другие: времена возвращения стихов и суждений о них без вмешательства посторонних.

Значит, не стихи, а биография? Да, немного биографии. Полпригоршни из ее судьбы.

Родилась Аида Ясколка (Хмелева-Сычева) 18 августа 1936 года в Северном Казахстане. Но этому она не верит. Да и как можно верить официальным документам, если ее мать (Молоденкова Любовь Петровна) говорила дочери, что родилась она 19 августа 1938 года.

Не торопитесь считать эту путаницу загадочной или парадоксальной. Такое бывало. И не в одной, по-видимому, семье. Попавшей под кулак времени, заставлявшего изворачиваться, хитрить и понуждавшего даже память быть беспамятной. Под этот кулак попала и семья А. Ясколки: отца (он был агрономом) арестовывают, а мать перебирается из Северного Казахстана в родные места, в северо-западную Россию (сначала Заозерье, а затем Кукуево на берегу озера Брясло). Там проходило детство А. Ясколки. В доме деда – Нила Федоровича Топешкина. Под материнской опекой, но еще больше под опекой бабушки – Екатерины Дмитриевны Крыловой.

В начальных классах А. Ясколка училась у матери (та преподавала детям своих прежних учеников, ставших к тому времени председателями колхозов, сельсоветов и райисполкомов, но еще сохранивших совесть и не писавших доносов на Любовь Петровну). Затем ходила за пять километров (знакомая многим картина) в семилетку. Десятилетку окончила в Москве (школа в Спасо-Песковском переулке), живя у родственников или снимая углы. Об этом времени она вспоминает так: «Если бы я снимала углы не в районе Арбата, моя жизнь сложилась бы иначе. За Арбат спасибо Ивану Дмитриевичу Воейкову и Инне Степановне, его жене, художнице, а еще моей однокласснице Галине Мишаковой и ее семье – Арбат 40, кв. 8».

Эти годы – годы влюбленности в Лермонтова и Блока (прибавьте к этому книги Тютчева, Фета, Майкова, А. К. Толстого, Пушкина, Чехова, Бунина, Ибсена, доставаемые в детские годы из бабушкиного сундука). Это годы осознания своей непохожести на других. Своего дара, полученного, как верит А. Ясколка, в наследство от бабушки и отца. Наверное, этот дар и мешал «остепениться», бросая то в библиотечный институт, то на филологический факультет МГУ, то на факультет журналистики (закончила редакционно-издательское отделение в 1970 (кажется) году).

Но мешало и другое: долгие годы не складывавшаяся семейная жизнь, немужское поведение сильного пола (суды, жалобы,

опеки), мерявшего дар по советским меркам – по успеху и престижу – и не представлявшего, что люди могут разойтись, не распилив пополам купленный на общие деньги шифоньер. Не деля во всеуслышанье и с помощью официальной и неофициальной общественности обиды и детей.

Мешало также и третье: круг близких знакомых и друзей, которые были на нехорошем счету. Мысли и взгляды, считавшиеся крамольными. Те мысли и взгляды, что сейчас становятся расхожими, стремясь превратиться в истины на все времена. Короче говоря, это были диссидентские взгляды и мысли. И таковыми они оставались до 70-х годов. А почему не позже, ответит сама А. Ясколка: «Начиная с конца 50-х годов я была связана с так называемым диссидентским движением, от которого отошла в 70-е годы, когда это движение было искусственно и искусно сужено до элитарной кучки «окружения А. Сахарова» с помощью секретных полицейских служб КГБ и ЦРУ. Когда диссидентство стало медиатическим явлением, к тому же хорошо оплачиваемым. Будучи человеком из народа и любя свой народ, я не прощала диссидентам нелюбви к своему народу, презрения и отсутствия какой-либо позитивной программы для дальнейшего будущего страны. Воображая диссидентов у власти, я вспоминала худшие сталинские времена. Об этом расхождении есть в моих стихах – «Ваши вешают...». Вешать я не хотела. Никого, даже «плохих». Это не значит, что в диссидентстве не было честных людей и даже светлых, которые тоже не хотели «вешать». Таким человеком был Юрий Галансков, он был моим самым близким другом, и вина за его смерть лежит не только на КГБ, МВД и коммунистической системе, но и на диссидентах, которые от него отвернулись, потому что он в лагере стал русским националистом. А это не «прощалось» уже в те времена...».

Саднящие мешающие узлы нужно было разрубить. И А. Ясколка это делает – в 1979 году она уезжает сначала в Вену, а затем во Францию.

Счастлива ли она? Да, она пишет, что счастлива. Счастлива и в обыденной жизни, и воспоминаниями о «лучших, талантливей-

ших людях русской неофициальной культуры», которые были ее друзьями – художниках Василии Яковлевиче Ситникове и Анатолии Тимофеевиче Звереве, поэте Леониде Губанове, поэте и публицисте Юрии Галанскове, публицисте и писателе Андрее Амальрике.

Она счастлива тем, что нашла своих Богов – Бога Добра и Бога Зла. Уразумела, что и мир, и наши души – поле их борьбы. И что мы – тоже воины на этом поле. На той или другой стороне. (Этих богов А. Ясколка нашла в сорок лет, уйдя из официального (или, лучше сказать, от официозного) православия (влияние Розанова – в этом она признается, и, наверное, все-таки Бердяева).

О своем знакомстве с А. Ясколкой скажу коротко и лишь потому, что нужно объяснить, как я «нашел» и ее, и ее стихи. Познакомил нас первый муж А. Ясколки Владимир Николаевич Осипов, с которым я подружился на второй целине (в Северном Казахстане). Кажется, тогда она училась на филологическом факультете. Я бывал – и довольно часто – в общежитии на Ленинских горах в их семейном блоке. А потом ездил и по тем углам, которые они снимали. Это было время «обчитыванья» друг друга стихами. Читала она их торопясь, чуть захлебываясь, словно другого случая не представится. Такая скороговорка нравилась. А в разговорах о поэзии встречались и те имена, которые были близки и мне (Пастернак, Мандельштам, Цветаева). Мы были единомышленны и в оценке казенной поэзии как ведущей в никуда (Прокофьев, Светлов, Слуцкий), и, кажется, не ошиблись в будущих поворотах поэтических судеб Евтушенко и Вознесенского (ранние их стихи мы принимали на ура, хотя и в них кое-где проскальзывали если не фальшивые, то службистские нотки).

А. Ясколке я обязан и знакомством с теми живописцами, картины которых нигде не выставлялись и которых круги, управлявшие искусством, художниками не считали. До сих пор вспоминаются – ожогами – краски картин Ситникова и Тышлера, Вейсберга и Харитоновна (а его «Девочка с корабликом» иногда снится).

Для меня стихи А. Ясколки – это лучшие женские стихи 60–70-х годов. Я буду рад, если они понравятся и вам. Выйдут из небы-

тия. Расскажут одним о том времени, которого они не знали, а другим – напомнят о нем.

Мы еще не подводим итоги, и все-таки:

«По жизнерадостному делу
мой сочувственник
мой совместник
кончается час пик
час трефовый приходит
подсчитывать остатки
в нашей дести
он белей посмертной маски
до опьянения бранится
сохнут буквенные мази
на желтых пролежнях страниц
стучимся в закадычный рай
в конюшню христианской грусти
где соль и хлеба каравай
и ясли ходят грунью
и наших лепетов азы
и пустоты белесый крик
на подаренный язык
толмач перекроит».

§23. Запоздавший отзыв
ЛЮБОВЬ МОЛОДЕНКОВА. ВОЛЬНАЯ ВОЛЯ
(Париж; Москва, 1997, 171 с.)
и репрезентация пола в художественной речи

Начну с внешних примет книги: на нее приятно смотреть, в ней портреты работы А. Зверева и А. Харитоновы, неинсценированные фотографии В. Сычева, а между – стихотворения – уйма воздуха/белизны, и кажется, что они плывут в нем/в ней.

Автор книги живет в Париже, уехав из России в 1979 г. Отъезд был вынужденным. Пришлось выбирать между ним и тюрь-

мой: за диссидентское умонастроение и за соответствующие знакомства, например, с Ю. Галансковым, А. Амальриком, В. Осиповым, по головке не гладили.

В последние годы Любовь Молоденкова все чаще приезжает в Россию. По ее словам, стихи можно писать везде, но лучше всего на малой родине, в деревне Кукуево Тверской области, и на большой – в Москве. Она убеждена также и в том, что *поэзия* и *Россия* – равнозначные понятия. По крайней мере, для нее.

О чем же ее книга? Попробую об этом рассказать, понимая, что мои парафрастические двойники ее стихов – лишь огрубление словесной и несловесной поэтической ауры.

Любовь Молоденкова пишет о самых главных «вещах» – о жизни и смерти. О навязанности нам первой и неизбежности второй:

«Дожди идут почти три месяца.
Деревья пьют. Душа трезвеет.
Все выше, уже, тоньше лестница,
все ближе дверь, и розовеет
Восток. И дождь ушел в Дроздовку.
И нету слов. И тяжело бремя.
Но обрывает Бог веревку:
закрыта дверь. Еще не время».

О том, что наша жизнь – арена цирка, на которой два клоуна, Добро и Зло, разыгрывают трагикомические мизансцены, втягивая и нас в свои игры, которыми тяготимся и мы, и тот, кто ведет нас:

«Лиловое чудо цветет в октябре
В Севилье вдоль пыльных дорог.
Проходит Иуда в плаще на заре,
За ним – перепуганный Бог...».

Спасают нас – память о наших близких, оглядка на их незаметную, «незвездную» жизнь с ее бессознательными и изначальноными правилами и традициями, принятие судьбы и совестливый спор с ней. Спасают и умные молитвы. Их – три: «Пасха в Кукуево»,

«Венеция» и «В праздник печальный Успения...». Прислушайтесь к полужеланию одной:

«В Венеции, где Рок листает
старинные календари,
где звон в церквах, и птичьих стаи,
и розовые фонари, –
смерть удивительно простая:
от сумерек и до зари
душа неслышно отлетает,
трепещет, падает, парит,
в ослепшем небе тихо тает,
и ангел с Богом говорит»,

а затем – и другой:

«В праздник печальный Успения,
на Параскеву – Пятницу,
слышалось райское пение
в пещерах и на горе.
Милый, зачем мы уехали?
Вдруг нас на родине хватятся
в праздник печальный Успения
в псковском монастыре?
Милый, зачем мы уехали?
Разве нас не приветила
Пушкина милая родина
в псковском монастыре?
Жизнь золотыми веками
день августовский отметила
в праздник печальный Успения
в пещерах и на горе».

Этот полужелание может быть и другим: стремящимся к иллюзии абсолютной естественности, к такому своему бытию, когда художественная речь маскируется под обыденную (верлибр). Таков цикл «Розы»:

«Плавится алой розы
пламя. Слепит полдень.
Солнце палит. Пекло.
Палисадник. Калитка. Ад»,

напоминающий старокитайские и старояпонские стихи. В подтверждение своих слов приведу стихотворение «Ива» китайского поэта Хэ Чжичжана:

«Голубовато-зеленой яшмой разукрашена высь дерева.
Десять тысяч деревьев свисают зелеными паутиными нитями.
Не ведаю, кто срезал тонкие листья.
Второй луны осенний ветер, словно ножницы и нож.

Эта переключка представляется мне и важной, и показательной: Россия – это перекресток (перепутье) не двух, а нескольких миров. Любовь Молоденкова это интуитивно чувствует, пытается жить в трех измерениях: в ориентальном, западноевропейском и российском. Когда она напечатает, как обещает, свои стихи 60-х годов, круг ее медитативной лирики окончательно замкнется.

Дополнение 2007 г. Вышеприведенный отзыв не был напечатан. Причина тривиальная, но о ней я сужу по слухам из вторых рук: и судьба у поэтессы излишне извилиста, и стихи слишком не от мира сего. Из них не очень-то понимаешь, чем и зачем жить, а самое главное – какую из трех дорог выбрать на перекрестке. Действительно, судьба незавидная: у Л. Молоденковой нет окончательных ответов. И рассуждать о своей поэзии она не любит. Чем и отличается от тех, кто знает все о себе и своих стихах. И для которых чужие души – не потемки. Несколько цитат в подтверждение: «Я скорее буду смотреть на радикальность эксперимента, чем на грамматические окончания. <...> Женщин нет ни среди иронистов, ни среди концептуалистов. Когда речь идет о прямом высказывании, впереди всегда бабы. <...> Уходя от пола, неизбежно сужаешь свой диапазон. <...> Никакой такой сугубо женской – как и мужской – поэзии не существует»⁴.

⁴ Шульпяков Г. Девичья память. Вера Павлова: «Я научила говорить мужчин?» // «Независимая газета». 12 марта 2002. С. 18.

Допустим, что не существует ни сугубо женской, ни сугубо мужской поэзии, но очень трудно возражать против фактов, свидетельствующих о различиях между мужской и женской речью, и несхожих правил ее развертывания (по данным ассоциативного эксперимента): «При распределении единичных реакций по частям речи у мужчин было зарегистрировано больше существительных, у женщин – прилагательных... Число положительно окрашенных реакций в мужском и женском массиве было одинаковым, но женщины чаще мужчин давали отрицательные реакции на предъявленные стимулы... Если же рассматривать стратегии реагирования, то женщины чаще мужчин реагировали словами, семантически не связанными со стимулами, в частности в «их» массиве реакций было больше персевераций и словообразовательных реакций-реагирований на предъявляемые стимулы. При анализе семантически связанных со стимулом реакций было установлено, что по «реакциям развертывания» женщины количественно превосходят мужчин и предпочитают давать атрибутивные или же ситуационные характеристики стимулу, мужчины больше выделяли его функциональную сторону. Мужчины значительно чаще женщин пытались давать пояснения услышанным словам... или же выбрать слово, противопоставленное по определенным параметрам слову-стимулу... «женское поле» разнообразнее «мужского» по своей структуре... мужские реакции более стереотипны»⁵.

Показательно также, что различаются (на фоне сходств) правила продуцирования мужского и женского текста: «...гендерной чертой, характеризующей структуру заметок у адресантов-мужчин, является применение тема-рематической прогрессии с параллельными темами, которая выступает в качестве тактики, позволяющей реализовать дескриптивную речевую стратегию. <...> Коммуникативно-функциональные характеристики заметок у авторов-мужчин предполагают экспликативное развитие сквозной темы. <...> ...к гендерным структурным характеристикам заметок у адресантов-женщин относится применение гипертемы в тема-рематической про-

⁵ Горошко Е. И. Особенности мужских и женских ассоциаций // Пол и его маркировка в речевой деятельности. Кривой Рог, 1996. С. 80

грессии и смешанных коммуникативных рисунков при среднем объеме текстов. <...> К коммуникативно-функциональным особенностям относится использование адресантами-женщинами большого количества рем и микротем при реализации тактики информационной насыщенности заметок. <...> В группе сообщений среднего объема авторов-мужчин отмечена также тенденция тематизации рем, связанных как с конкретной личностью..., так и с любым фактом объективной действительности. <...> В текстах малого объема с аналогичной прогрессией автор-мужчина затрагивает тематизацией ремы факт, событие, не связанные с деятельностью конкретной персоны. <...> Для адресантов-женщин гендерной характеристикой является применение гипертемы в тема-рематической структуре текстов сообщений различного объема. <...> Принцип параллельного рассмотрения тем, а также тактики привлечения внимания в последней микротеме текста и индуктивного изложения в рамках дескриптивного развертывания относится к коммуникативно-функциональным гендерным чертам. <...> К гендерным структурным характеристикам комментариев авторов-мужчин следует отнести смешанные сложные коммуникативные прогрессии. <...> Для адресантов-женщин гендерной характеристикой является применение гипертемы, а также сквозной прогрессии на базе производных тем в структуре комментариев при любом объеме текста. Тактика дедуктивного изложения... используется адресантами в качестве приема, помогающего раскрыть конкретную тему посредством более общей. Информационно-апеллятивное раскрытие темы характеризует комментарии авторов-женщин»⁶.

Небесполезными в связи с вышеизложенным оказываются и сведения относительно сути и характера женских и мужских конфликтов в корейской лингвокультуральной общности, а также о ценностных установках и тактиках поведения мужчин и женщин⁷.

⁶ Черкун Е. Ю. Особенности гендерной специфики видов публицистического текста (на материале немецкого языка): автореф. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2007. С.10, 12–14, 17–18

⁷ О различиях между ними см., напр.: Габрусенко Т. В. Эти непонятные корейцы. М., 2003. С. 193–206, 242–254 (23-я и 28-я главы).

Памятуя об этих различиях (а число их можно умножить, ибо они обусловлены этникокультуральными причинами⁸), следует все-таки полагать, что мужская и женская художественная речь (поэтическая и прозаическая) различаются как особые отдельности, как *метаболекты* с только им присущей «органикой». И если ею пытаются управлять по своему желанию и по своему хотению, то получается нечто антихудожественное/антибеллетристическое, нечто даже не из вторых и третьих рук, а рационально-волевое и рассудочное. Словом, получается такая литература, о которой в свое время нелестно отзывался П. Я. Вяземский: «Литература наша в настоящее время переродилась в Чичикова. Вероятно, за неимением живых, наличных душ, она принялась промышлять мертвыми. Везде, где бы то ни было, у кого бы то ни было, скупает она мертвые души, выгребает их из могил и закладывает в разные журнальные банки»⁹.

Короче говоря, все-таки существует мужская и женская поэзия, подпитываемая, если сослаться на К. Г. Юнга, различиями в типах установок и различиями в типах функций¹⁰, игрой Анимы и Анимуса, борющихся за преимущественное право овеществиться в поэтическом тексте.

Конечно, можно привести и контрдовод. Если мужчина или женщина рискуют «заниматься литературой», то «и та, и другой становятся странного – среднего... рода существом, писателем, в котором сливаются до неразличимости мужские и женские черты и в котором всякий... читатель угадывает самого себя. Литература и начинается с этой способности сказать «я» так, будто говоришь от третьего лица, а «он» – будто от себя. Литература не знает не только рода, но и лица. Безличность литературы, предполагающая крушение «собственного», «мужского», «женского», всех перегородок «я» – «ты» – «он» – «она», – неперемненное условие сообщения, которого добивается писатель: на это делается самая

⁸ Жельвис В. И. Мы одной крови – ты и я. Ярославль, 2006.

⁹ Вяземский П. Я. Сочинения в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 229

¹⁰ Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. СПб.; М., 1997. С. 189–283.

большая ставка литературы»¹¹. Но тогда вдвойне бессмысленными становятся утверждения об отсутствии *женщин* среди иронистов и концептуалистов или о прямом высказывании, на которое решаются лишь *бабы*.

(Примечание. Таковыми же являются и два других утверждения В. Павловой: «Уходя от пола, неизбежно сужаешь свой диапазон» и «...никакой такой сугубо женской – как и мужской – поэзии не существует», ибо если ни та, ни другая поэзия не существуют, то бессцельны заботы о сужении диапазона, если даже и «уходишь» от своего пола. К тому же зерологический субъект в том его понимании, какое предлагает Ю. Кристева¹², существует в «пустом»/алогическом пространстве (поэтической речи), к которому неприменимо противопоставление «грамматических окончаний» и «радикальности эксперимента» (собственно, такое противопоставление – не что иное, как игра словами), ибо «мы знаем, что то, что высказывается с помощью поэтического языка, *не существует* (с точки зрения логики обычной речи), и тем не менее мы приемлем бытие этого небытия. Иными словами, мы представляем себе это бытие (это утверждение) на фоне небытия (отрицания, исключения). Именно по отношению к логике обычной речи, в основе которой лежит несовместимость двух взаимоотрицающих элементов, как раз и приобретает значение их *несинтетическое объединение*, которое и происходит внутри поэтического означаемого»¹³. Осознание неизбежности приятия или неприятия этого «бытия небытия» возникает, по-видимому, на глубинном/архетипическом уровне, принадлежащем тому же «пустому» пространству: «Какую мне мечту повесить? / Какое проколоть лицо? / Чтоб обручальное кольцо / Вернуть заплаканной поэзии?»¹⁴).

¹¹ Фокин С. Л. Жорж Батай и Колет Пеньо // Предельный Батай. СПб., 2006. С. 193–194.

¹² Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004. С. 286–287.

¹³ Там же. С. 269.

¹⁴ Губанов Л. Я сослан к Музе на галеры... М., 2003. С. 65.

Усиливая вышеприведенные рассуждения о «бытии небытия», рискну указать и на следующее: поэтический текст настолько является таковым, насколько он сингулярен, когда он, по выражению Ж. Бодрийяра, вырывает «языковое из сферы партикулярности и универсальности смысла»¹⁵. Когда этот текст и ухроничен, и патафизичен, т.е. когда он, с одной стороны, «позволяет сформулировать... ретроспективную утопию»¹⁶, когда он есть не что иное, как события, которые не случились (а в поэзии в принципе ничего не случается), но которые продолжают становиться, а, с другой стороны, когда он есть не что иное, как «набор» воображаемых решений/«набор» потенциальных альтернатив¹⁷. Может быть, он есть не что иное, как акуфреническое пространство¹⁸?

Но эти соображения отнюдь не свидетельствуют в пользу несуществования маскулинной или феминной поэзии (несуществования феминолектов или маскулинолектов), ибо сингулярное ухроническое и патафизическое пространство поэтического текста специфицируется в зависимости от психотипических особенностей той или иной личности/того или иного креатора¹⁹.

Иными словами, у той или иной личности/у того или иного креатора существует свое «направление взгляда» (в самом широком смысле этого слова). Опираясь на градацию взглядов, предлагаемую Л. В. Молчановой²⁰, можно полагать, что существуют

¹⁵ Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006. С. 157.

¹⁶ Там же. С. 160.

¹⁷ Там же. С. 68 (со ссылкой на А. Жарри).

¹⁸ Об акуфрении см.: Журавлев И. В. Как доказать, что мы не в матрице? (Сознание, коммуникация и психические расстройства). М., 2006. С. 62–64.

¹⁹ Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М., 1997; а также: Батов В. И. Анализ и интерпретация личностного в тексте: автореф. дис.... д-ра культурологии. М., 2003.

²⁰ Молчанова Л.В. Качественный и количественный аспекты лексико-семантической прогностики. Воронеж, 2007. С. 20–24.

креаторы разных типов: проспектоиды (глядящие вперед/вдаль – и в прямом, и в переносном смысле этих слов), деспектоиды (глядящие вниз), суспектоиды (глядящие вверх), интроспектоиды (глядящие внутрь), латероспектоиды (глядящие в сторону, вбок), циркумспектоиды (глядящие вокруг), ретроспектоиды (глядящие назад).

Кода: «Великое *дао* растекается повсюду. Оно может находиться и вправо, и влево. <...> Оно совершает подвиги, но славы себе не желает. <...> Его можно назвать *великим*. Оно становится *великим*, потому что никогда не считает себя таковым» (Дао дэ цзин)²¹.

§24. Эпитафия

Хоронили Владимира Петровича Бурича 3 сентября. Народу было немного: жена, друзья и литературная братия (те, кому успели сообщить, и те, кто успел приехать). Умер он в Македонии, в больнице, после сердечного приступа, успев прочитать стихи на международной поэтической тусовке и написать пару статей о выходе из югославского тупика. Хоронили на десятый день, когда, наконец, привезли его на самолете из зарубежья.

Речи, которые говорились в крематории, я слушал, но, признаюсь, почти не услышал: вспоминал псалом Давида. Вспоминался он отрывками, но потом я нашел его: «Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и кто делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клеветает языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего; кто клянется хотя бы злomu, и не изменяет; кто серебра своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного».

Я не хочу сказать, что Владимир Петрович Бурич всегда был таким (это нам, грешным, не под силу), но он старался жить по правилам псалмопевца. А для Господа угодно именно такое стрем-

²¹ Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 т. М., 1972. Т. 1. С. 125.

ление, указывающее, что человек жаждет выйти за свои пределы – за пределы тленного и профанного. И за это прощается многое, если не все.

Я познакомился с Владимиром Петровичем в издательстве «Молодая гвардия». Он работал там редактором: курировал библиотечку «Избранной зарубежной лирики» (а потом и журнал «Весь свет». Ни этой «Лирики», ни «Всего света», кстати, сейчас не существует). Мне заказали переводы Ай Цина, и вот над ними мы и сидели. А такая работа лучше всего «выдает» суть человека. Сразу начинаешь понимать, кто перед тобой и насколько профессионален и талантлив. Если Владимир Петрович спорил и не соглашался – то с прицелом щедрого человека: он старался «вынуть» из переводчика лучшее решение, предлагая свои варианты и со вкусом взвешивая компромиссные. Он был белой вороной среди других редакторов с их шаблонными надоевшими советами: «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» или пометами: «не подойдет, не нравится», выдававшими их с головой: зачастую неподходящее и не понравившееся превышало меру их понимания и свидетельствовало о плохом художественном вкусе (и даже не в тексте перевода (он лишь намек), а в авторском тексте). Владимир Петрович таких советов не давал и рутинных помет на поля рукописи не выносил. Это настораживало и заинтересовывало. Ведь стихов его я не знал (разве можно судить о человеке и стихах по фельетону? А его и этим в свое время осчастливили), но все встало на место, когда он (далеко не сразу) дал мне почитать свою подборку. И кое-что запомнилось накрепко:

«Лицо девочки луг
лицо девушки сад
лицо женщины дом
дом полный забот».

«Серенькая птичка
с желтым пятнышком на груди
дай мне тебя убить
чтобы рассмотреть тебя».

И все-таки это был до конца неотгаданный Владимир Петрович Бурич. Преотличнейший верлибрист, он оказался еще и теоретиком, что я, признаться, не ожидал. У него лежала в «запаснике» «Типология формальных структур русского литературного текста», вошедшая потом в его книгу «Тексты», но напечатанная сначала в сборнике «Проблемы связности и цельности текста» (М., 1982). Думаю, этот сборник, выпущенный под «крышей» Института языкознания, сыграл свою роль: помог Владимиру Петровичу выйти из роли вынужденно немого и заставить учитывать свою точку зрения на статус верлибра среди других поэтических текстов. Знаю: его поэтологические взгляды оспаривались, но я уверен – он «говорил истину в сердце своем». И теперь этой истине, если спорить с ним, подобает противопоставить такую же сердечную истину.

Конец нашей «счастливой эпохи» Владимир Петрович переживал тяжело. Он жаловался, что не может писать, что утеряны точки ценностных отсчетов, его пугали напористые дельцы-графоманы, обесценивание слова и повышение престижности косноязычия. «Теперь я не знаю – что писать, как и зачем», – говорил он. Жаловался на здоровье. И лишь в этом году я увидел – в музее Сидура, на очередной сходке верлибристов – прежнего Бурича. Он похудел и, отпустив бороду, даже помолодел.

Прощаясь, я говорю ему: «Прости», помня о концовке псалма Давида: «Поступающий так не поколеблется вовек». Помня, что поступавший так оставил нас колебаться и рассчитывать на земное и небесное снисхождение.

Говоря прости, я прощаюсь с ним, как, наверное, простился бы он – верлибром:

«Вот стол накрытый клеенкой
вот сахарница и ваза с печеньем
пять мух враскачку бегут к ним слева на пружинистых
травинках лапок
попаситесь заразы
я нынче почти Шакья Муни
лампочка Ильича выдавливает из-под абажура
желто жидкие кукиши

они дергаются на обоях слипаясь в фигуры эротической игры
половики из угла в угол будто скрещенные руки

пола застывшего

в медитации

он доискивается умысла кисти пощекотавшей его

темнокоричневой краской

упокоей Господи ее маслянистую душу

податливо покатую для разноцветных лоскутьев

дверь набычилась и пощелкивает щеколдой

чем недовольна неизвестно

может быть вечным караулом у тела тепла

может быть ноющей пломбой замка

кусающего торопливый ключ

я прикладываю ухо к ее белой плоской груди

чтобы послушать о чем переговариваются ее скрипы

и слышу

не уходи из дома в этот вечер».

Еще раз прости и прощай.

§25. Поэтический текст и его коммуникативная тактика (попытка прогноза)

1. Прежде всего мне хотелось бы указать на риск такой попытки (об одной из них см.: Сорокин 1994), ибо индивидуальные футуроогностические рассуждения могут оказаться столь же ненадежными, сколь и оспоренными. Сложность прогноза усугубляется также и тем, что мы живем в эпоху трансекции, понимаемой как «новая темпоральность в повседневной жизни. Ее результатом является настроение и чувство непостоянства» (Тоффлер 1997, 37), а также среди модульных индивидов/людей: «Вместо того чтобы быть захваченными человеком полностью, мы вникаем только в модуль его личных качеств. Каждую личность можно представить как уникальную конфигурацию тысячи таких модулей. В отличие от личности в целом, модули, несомненно, могут быть взаимосвя-

меняемы» (Тоффлер 1997, 73). Короче говоря, «...люди пронесятся по нашей жизни так же, как вещи и места» (Там же, 73), ибо они представляют для нас фрагментарный интерес. «Вещи и места» мы видим в одном фокусе – фокусе утилитарности, но и модульную личность, очевидно, также рассматриваем антинобъемно – как набор функциональных ролей. Положение мое осложняется еще и тем, что наше время – это и время, в котором отнюдь не исключено появление нетривиальных соображений, расширяющих наше представление о сфере искусства. Например, аналогичных тем, что были высказаны Урсулой Ле Гуин, полагающей возможным существование *тероискусства* и *фитоискусства*. В частности, о первом она пишет следующее: «...мы его для себя даже не открыли. И все же я с известной долей уверенности предсказываю, что оно существует и, по всей вероятности, окажется не активным, а рецептивным, т.е. главным в нем будет не действие, а реакция, не направленная коммуникация, а рецепция. Это полностью противоречит тому, на чем основаны известные нам виды искусства, поддающиеся сопоставлению и типологическому определению. Таким образом, мы можем открыть первое в истории *пассивное* искусство» (Ле Гуин 1990, 278–279).

2. С учетом вышесказанного, попробую порассуждать а) о статусе современного поэтического текста и б) об его аксиологических установках вкупе с теми когитивно-когнитивными «фактами», которые инкорпорированы в стихи, тем более, что материалов, позволяющих это сделать, вполне достаточно (см., например: Кулаков 1999, Зубова 2000, Фатеева 2000, Текст. Интертекст. Культура 2001, Язык и искусство 2002). Но прежде чем говорить о статусе современного поэтического текста, целесообразно, по-видимому, установить, кем же является его автор. По мнению А. А. Фаустова, следует иметь в виду следующее: «...если элегическая культура была обращена к минувшему, к ускользающему, а критическая – к апокалипсическому настоящему, то реалисты ищут начало того «нуля», из которого может возникнуть нечто никогда еще не бывшее – будущее» (Фаустов 1997, 43). Он считает, что «...для элегика территория фантазии – это («экзистенциально» иной) мир расши-

ренных возможностей; для человека критической культуры – мир «интенционально» иной. При переходе от одного (биографического) модуса в другой (авторский) элегический поэт надеялся сохранить непрерывность своего бытия, а поэт критический – сделать себя неузнаваемым» (Фаустов 1997, 46–47).

3. Как бы себя нынешние сочинители не называли (метафористы, концептуалисты, метапоэты, постмодернисты), все они, очевидно, являются элегиками, но со следующими оговорками: их мир – это мир суженных возможностей (он «тавтологичен», ибо исчерпал себя); они вряд ли надеются сохранить непрерывность своего бытия (и в силу его «разрывности», и в силу фрагментарного внимания модульного человека), оценивая жизненный мир как внутренне сложный и внешне трудный (4-й тип отношения к миру, по Ф. Е. Василюку – Василюк 1984, 136–150) и ориентируясь в большей степени на терпение (на принцип реальности), чем на защиту (принцип удовольствия): «И защита, и терпение актуализируют в сознании ощущение наличия блага, объективно отсутствующего, но модальные формы этих актуализаций существенно различаются. Защита признает благо бытийно наличным, терпение – наличным в долженствовании; защита создает иллюзию решенности проблемы (или ее отсутствие: «виноград зелен»), терпение формирует сознание решимости ее; защита отказывается видеть необеспеченность бытием достигнутых положительных (или устраненных отрицательных) эмоциональных состояний, терпение ориентировано на устранение этой необеспеченности; защита, наконец, берет за основу неприкосновенность субъективности (желания, самооценки, чувства безопасности и т.д.) и искажает в угоду ей образ реальности, терпение берет за основу реальность, сдерживая и подстраивая к ней субъективность» (Василюк 1984, 113–114).

(Примечание. Скорее всего, ориентация поэтов – таких же модульных личностей, как и все мы, – является мозаичной, сочетая в себе элементы и защиты, и терпения. Например, для московских концептуалистов Д. А. Пригова, Л. С. Рубинштейна и Т. Кибирова принцип защиты оказывается, по-видимому, весомее принципа терпения: «Культурный концепт «пустота» в поэтических текстах московских концептуалистов ассоциативно связан с концептами «эн-

тропия», «страх», «смерть», «болезнь», а его ядерным признаком является «отсутствие», центральными признаками – «отрицательность», «бессмысленность». <...> Тема пустоты, центральная в художественной системе концептуализма, уточняется через внешне-словесные образы «бездны», «прорыва», «пропасти», «зияния», «ямы», «болезни», «хляби» и т.п.» (Суродина 1999, 6, 13)).

Казалось бы, в концептуалистских текстах «обыгрываются» *предельные категории* (см. по этому поводу: Снитко 1999) и, в частности, такая из них, как смерть, но меня смущает следующее: дескриптивность, а не иконичность этого «обыгрывания». Суть его нетрудно сформулировать: это цепочка перечислений, хотя, как писал В. Вейдле, «есть поэзия вымысла – скажу даже: замысла и соответствующая им общего характера речи; и есть поэзия самой этой речи, или слова, от вымысла в значительной мере независимая и не нуждающаяся в нем, зато нуждающаяся в такой насыщенности и плотности звуко-смысловой ткани, какая не со всяким вымыслом (или замыслом) даже и совместима» (Вейдле 2001, 79). Такое «обыгрывание» ориентировано также на антиономатопейный принцип (принцип несходства между означающим и означаемым) речепроизводства/речетворчества, опирающегося на иное понимание эмбриологии поэзии, чем предлагалось ранее: «Основной принцип образования языка... тот же, что основной принцип поэтической речи. Назову его ономатопейным. Не просто словотворческим (этим не было бы сказано ровно ничего), но в согласии с греческим пониманием делания имен, таким, где творчество состоит в создании сходства между именем и тем, что названо этим именем» (Вейдле 2001, 45). Иными словами, в задачу поэтического ноэзиса, если так можно выразиться, входит не анаграммирование, а деконструкция сходства, что вполне согласуется с постулатами постмодернизма (сингулярность, «междуизм», гомогенная гетерогенность, симуляция, языковая игра, «ризомность» – Гречко 1995, 88–102).

Рискну даже утверждать, что современный поэтический текст стремится оспорить то поле принципов, которое обсуждает В. П. Григорьев (Григорьев 2000, 48–49, 592, 625), в частности такие из них, как принцип сочувствия (С. В. Мейен), принцип религиозного сомне-

ния (Я. С. Друскин), принцип преклонения перед жизнью (А. Швейцер) и принцип красоты (П. А. М. Дирак).

4. Если рассматривать этот текст как совокупность того, что Р. Барт называет лексиями (Барт 2001, 39–40), то нельзя не заметить плотность/насыщенность его когитивно-когнитивной фактуры. Это текст стремится – и в дальнейшем такая установка, по-видимому, сохранится – стать предельно интеллектуальным/рациональным, используя метаболы для реализации того или иного вымысла/замысла. Иными словами, он предзадан на решение определенной задачи: «...вспомним Яна Коллара, о котором было сказано, что он “филологически слагает стихи и поэтически занимается филологией (Челяковский)”», – писал Я. Мукаржовский (Мукаржовский 1996, 263). Для этого текста незначим принцип безвозмездности, что позволяет квалифицировать его скорее как понятийный или эмотивный беллетристический текст, чем текст идейно-художественный (о различиях между этими текстами см.: Богатырёв 2001).

Об интеллектуализации поэтического текста свидетельствует, в частности, интенсивное использование в нем прецедентологем (о них см.: Гудков 1999), микро- и макротекстов-перекличек/отсылок, свидетельствующих не о «конце цитаты», как полагает М. Безродный (Безродный 1995), а о ее неустранимости. Интенсификацию использования прецедентологем можно оценивать двояко: с одной стороны, это естественный путь переорганизации культурального фонда и фона, а с другой стороны, свидетельство их изношенности (дефицита креативно-инновационных «приемов»), обусловленной (обусловленного) концом осевого времени. Иными словами, современный поэтический текст ориентируется на когитивно-когнитивную редупликацию, изоцряя свои изобразительные и языковые приемы (о них см., в частности: Ходасевич 1991, 237–240), сталкивая их с приемами конкурентов и уходя от того, чтобы стать, по словам В. Ходасевича, выраженным отношением к миру (Ходасевич 1991, 239). Этот текст вполне удовлетворяется своей самодостаточностью. Я не могу – вслед за Е. А. Баратынским – сказать об его авторе, что «В своих стихах он скукой дышит; // Жужжаньем их наводит сон. // Не говорю: зачем он пишет», хотя на вопрос «Но для чего читает он?» (Баратынский 2000, 119)

ответ напрашивается сам собой: он читает ради повторения – с вариациями – ранее сказанного, считая, что и логос, и эйдос полностью выдали свои тайны. Он образован и, отстаивая себя, может сослаться и на смысловую интервальность своего художественного текста, и на необходимость прививки читателю вкуса к синдересису. Он рассматривает себя как скриптора, памятуя о смерти автора: «...если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, – то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо» (Барт 1989, 384), не замечая, очевидно, того, что справедливее было бы говорить о воскрешении авторов (воскрешении голосов – цитат), хотя ЕМУ и остается лишь роль их координатора. Осознавая свой статус и не удовлетворяясь им, ОН пытается разнообразить ее теми или иными *дискурсными практиками*, памятуя о том, что живет среди актеров-потребителей и сам является одним из них.

(Примечание. О характеристике ЕГО как сторонника той или иной школы см. §21, но эта характеристика неизбежно условна в силу одинаковой аксиологической ориентации современных поэтических текстов на метисацию близких и далеких смыслов/артефактов).

5. Этим, по-видимому, и объясняется расплывчатость/неопределенность характеристик тех или иных поэтических идиологем. Например, М. Айзенберг аттестует стихи Я. Сатуновского следующим образом: «Опыт Сатуновского уникален: он в одиночку открыл совершенно новый, как бы внестиховой, способ бытования поэзии. Бытование, идущее от подхваченной фразы и индивидуальной, почти интимной интонации. В каждом случае это какая-то одна, незамеченная прежде, возможность» (Айзенберг 1995, 104), а «авангардность» Некрасова характеризует так: «Его поэтика в своей основе действительно заморожена паузой и молчанием, но это молчание очень активно и насыщено возможностью речи, по своему характеру предельно далекой от авангардной утопии. Речи внутренней, реактивной, которая раньше не имела своего языка и могла существовать только в возгласах, вздохах, междометиях...»

(Айзенберг 1995, 105). Возможно также, что эта расплывчатость/неточность обусловлена и дефектностью теоретического багажа М. Айзенберга. Вот две цитаты в подтверждение – одна указывает на суть «бытования» и «возможности», другая – на суть внутренней речи: «...то, что сегодня литературный факт, то завтра становится простым фактом быта, исчезает из литературы. Шарады, логогрифы – для нас детская игра, а в эпоху Карамзина, с ее выдвиганием словесных мелочей и игры приемов, она была литературным жанром. И текучими здесь оказываются не только границы литературы, ее «периферия», ее пограничные области – нет, дело идет о самом «центре»: не то, что в центре литературы движется и эволюционирует одна исконная, преемственная струя, а только по бокам наплывают новые явления, – нет, эти самые новые явления занимают именно новый центр, а центр съезжает в периферию. В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вливается в центр новое явление...» (Тынянов 1977, 257–258); «...сходство поэтической речи с внутренней речью состоит не в воспроизведении внутренней речи, а в воплощении ее структурного принципа. Речь может идти не об отражении, а о моделировании. Внутренней речи присуща сплошная предикативность» (Выготский 1934). «В поэтической речи существует тенденция к сплошной предикативности, не в одинаковой степени реализуемая в разных поэтических текстах. Чем выше предикативность поэтического текста (концентрация признаков семантики), тем выше его способность моделировать внутреннюю речь» (Ковтунова 1986, 199).

(Примечание. Следует, однако, учитывать, что излишек этой признаковой семантики ведет к частичной или полной непрозрачности смысла/художественной идеи, так как остается полуизвестным или неизвестным тот субъект/объект, которому приписаны признаки. Таковы, например, некоторые стихи Л. Губанова и, в частности, его «Я беру кривоногое лето коня...»).

Другие «точки зрения» типа: «Быть может, одна из целей «мета-поэзии» – вывести бытие в историческую значимость, когда каждая отдельная онтология была бы нерушимым слагаемым, строящим время. Задача в поэзии Паршикова – не просто смешать

времена..., но строить дом времени» или «Еременко являет некий крайний уровень очерченного круга поэтов, он отражает и внешний мир в особом «ироничном» контексте. По сути, он строит антиутопию, которая при вхождении в нее оказывается «положительной утопией», при этом апофатическое отчаяние, которое слышится... в стихах позитивно, а стройные конструкции оказываются замыслами безумца» (Аристов 1997, 57) – вряд ли перспективны для обсуждения: они в высшей степени импрессионистичны и в силу этого доказуемы и недоказуемы в равной степени. Кроме того, такие «критические рассказы», как указывал еще Ю. И. Тынянов, больше не выручают, полагая, что «критика должна осознать себя литературным жанром. <...> Критика должна ориентироваться на себя как на литературу» (Тынянов 1977, 148–149).

6. Тем не менее, следует все-таки рассмотреть оценки стихов И. Жданова, принадлежащие В. Аристову и И. Шайтанову (который, кстати сказать, перед некоторыми стихами И. Жданова «останавливается в недоумении» – Шайтанов 1998, 25). Именно потому, что И. Жданов – один из лучших современных поэтов. Он умеет представлять сущность через ВЕЩИ, заставляя много думать и понимать, ибо «понимать значит сравнивать данную вещь с другими вещами, а понимать себя значит сравнивать себя с другими возможными формами существования самого себя» (Лосев 1997, 203). Эти иные возможные формы существования представимы рефлексивно, с помощью умной мысли и умного самопостроения, и такие рефлексивные цепочки и предлагает И. Жданов, камуфлируя их, как сказал бы А. Ф. Лосев, «словесной предметностью» («лектоном») (Лосев 1997, 349–352), нетварностью-в-тварности, отсылающей к иноприродному через природный символ (см. по этому поводу: Палама 1996, 298–299). Показательно в этом отношении следующее стихотворение И. Жданова:

«Пустая телега уже позади,
и сброшена сбруя с тебя, и в груди
остывшие угли надежды.
Ты вынут из бега, как тень, посреди
пустой лошадиной одежды.

Таким ты явился сюда, на простор
степеней распростертых, и, словно в костер,
ты брошен в веление бега.

Таким ты уходишь отсюда с тех пор,
как в ночь укатила телега.

А там, за телегой, к себе самому
буланое детство уходит во тьму,
где бродит табун вверх ногами
и плачет кобыла в метельном дыму
к тебе прикасаясь губами.

Небесный табун шелестит, как вода,
с рассветом приблизятся горы, когда
трава в небесах закружится
и тихо над миром повиснет звезда
со лба молодой кобылицы» (Жданов 1991, 47)²².

Но вот что пишет И. Шайтанов об одном из стихотворений И. Жданова: «Звук впечатляет и ведет через зияния смысла. Каждый отдельный сегмент мысли претендует на категорическую ясность, но законы смыслового синтаксиса загадочны, И более всего загадочны, когда внешне, грамматически, все правила примыкания соблюдены. Это не сбой, а внутренняя закономерность языка, темнота которого ведома поэту» (Шайтанов 1998, 23).

(Примечание. В этом пассаже неясно многое: и впечатляющий звук (как это понимать: в качестве пустого аргумента или фоносемантически?), и смысловой синтаксис (в чем его суть?), становящийся еще больше загадочным благодаря примыканию (а где же тогда управление и согласование?), которое приписывается «смысловому синтаксису, а точнее говоря, *синтаксису мысли* (способам ноэматической нарративизации)).

По мнению В. Аристова, для И. Жданова характерно «...стремление идти от наиболее общих, интуитивно улавливаемых в воз-

²² Подборка стихов И. Жданова опубликована в: Поэты-метареалисты..., 2002.

духе мира понятий. Уходя затем от этих отвлеченных категорий, «снижаясь к земле», он дарует вещи чувственно внятное, может быть, даже грубое бытие. Бытие отдельного предмета вознесено здесь в область категорий, которую он пытается осязать словами и, возносясь в темноту речи..., он обходит невидимый круг сущности отдельной вещи и определяет границу вещи, когда близится выход в трепещущую мерцающую множественность мира. Он удаляется в отвлеченность, оборачиваясь к покинутой вещи с мучительной улыбкой сожаления и вины, не забывая вещь и давая ей в продленном пути новую перспективу и форму движения» (Аристов 1997, 55–56).

Такие разъяснения мало чем полезны и излишни. Идти, уходя, осязать область категорий, возноситься в темноту речи, удаляться в отвлеченность и даже давать вещи новую перспективу и форму движения – обо всем этом было сказано раньше и короче: «Поэзия есть проекция человеческого пути. <...> «Попадая в поэзию», вещи приобретают четвертое, символическое измерение, становясь не только тем, что были в действительности» (Ходасевич 1991, 189, 193).

7. В этих и аналогичных «критических рассказах» отсутствует также и нечто более существенное: на мой взгляд, для современных стихотворцев, о чем не упоминают критики, более ценным становится понятие авторитетности, чем понятие авторства (возвращение к античному мировосприятию? См. в связи с этим убедительную и по фактам, и по аргументам статью С. С. Аверинцева (Аверинцев 1994)).

По-видимому, в понятии авторитетности/авторитета самым важным элементом оказывается (как и в стародавние времена) «сумма полномочий» (Гаспаров 1994, 108), но с одной поправкой: это прежде всего интеллектуальные полномочия, опирающиеся на выучку. Таким «интеллектуально полномочным» пытается стать и современный поэтический текст. И эта тенденция, очевидно, сохранится и в будущем наряду с другими свойствами поэтических коммуникантов: элегичностью и дескриптивностью, рациональностью и антибезвозмездностью, прецедентностью и антитолерантностью.

Иными словами, современный поэтический текст становится все более и более *эмблематическим*.

Литература

- Аверинцев С. С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
- Айзенберг М. Точка сопротивления // Арион. №2. 1995.
- Аристов В. Заметки о «мета» // Арион. №4 (16). 1997.
- Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000.
- Барт Р. S/Z. М., 2001.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Безродный М. Конец Цитаты // Новое литературное обозрение. М., 1995.
- Богатырёв А. А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала беллетристического текста. Тверь, 2001.
- Васильюк Ф. П. Психология переживания. М., 1984.
- Вейдле В. Эмбриология поэзии. М., 2001.
- Гаспаров М. Л. Поэзия и проза – поэтика и риторика // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
- Гречко П. К. Концептуальные модели истории. М., 1995.
- Григорьев В. П. Будетлянин. М., 2000.
- Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М., 1999.
- Жданов И. Место земли. М., 1991.
- Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
- Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986.
- Кулаков В. Поэзия как факт. М., 1999.
- Ле Гуин У. Автор «Записок на семенах акации» и другие статьи из «Журнала ассоциации теролингвистов» // Рай земной. М., 1990.
- Лосев А. Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. СПб., 1997.
- Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М., 1996.

Палама Г. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1996.

Поэты-метареалисты: А. Еременко, И. Жданов, А. Парщиков. М., 2002.

Снитко Т. Н. Предельные понятия в Западной и Восточной лингвокультурах. Пятигорск, 1999.

Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология (теоретические и экспериментальные фрагменты). Самара, 1994.

Суродина Н. Р. Лингвокультурологическое поле концепта «пустота» (на материале поэтического языка московских концептуалистов). Автореф. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1999.

Тоффлер А. Футушок. СПб., 1997.

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. М., 2000.

Фаустов Л. А. Авторское поведение в русской литературе. Воронеж, 1997.

Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991.

Шайтанов И. Поэт в России // Арион. №2 (18), 1998.

Язык и искусство: динамический авангард наших дней. М., 2002.

§26. О чем прошумела «Гроза» А. Н. Островского?

И критики, и литературоведы рассуждают об этом давно и, кажется, продолжают рассуждать до сих пор. Итоги неутешительны, ибо тривиальны, как и любое сверхсоциологизированное объяснение. Упоминаются по привычке «темное царство», бездуховность, власть денег и деспотизм старших, от которых спасаются двуличностью/фальшью и изворотливостью. Не забывают, конечно, и о «луче» в этом «темном царстве» – сомнительном утешении от всех скорбей.

С такими «итогами» можно было бы согласиться, как соглашаются с ними многие, для которых художественная литература – лишь форма существования обыденного инобытия, измеряемого постепенно и соизмеряемого рефлексивно с другим сходным или

несходным инобытием. Словом, эти «итоги» заставляют считать, что сопоставление «образца» (среда в широком смысле этого слова) и «копии» (редупликации среды) позволяет вполне уверенно судить о той сверхзадаче, которую решал писатель (в данном случае драматург Островский) с помощью «игры в персонажи». И даже суммировать результаты этой игры и выявить ее правила. Коротче говоря, предполагается, что художественная игра похожа на шахматную партию (собственно, литературоведение и стремится к тому, чтобы стать учебником, в котором разбираются ходы в этой партии), разыгрываемую фигурами-персонажами с оговоренной зоной компетенции.

Принять такую точку зрения можно, но она, по-видимому, непродуктивна. И прежде всего потому, что рационализирует художественную литературу, лишая ее символического измерения, а именно она и является ядром любого поэтического и прозаического текста. И особенно драматического, в котором символическое существует в профанно-детальной форме, дробно имитирующей спонтанное вербальное и невербальное поведение. Как и всякая имитация/копия, оно стремится к очевидности, к тому, чтобы быть лишь тем, что оно есть, стремится замаскировать мотивы и цели неосознаваемого его эксплицитными/вразумительными подобиями.

«Грех» – это и есть одно из таких подобий. И оно не менее важный персонаж пьесы, чем все остальные. Коли это так, то пьеса Островского – прежде всего рассказ о приращении греховности, спровоцированном излишне частым упоминанием о ней. Рассказ о «вербальном событии», освобождающемся от своего автоматизма и становящемся объектом интериоризации. Если от слишком частого использования/употребления слова-образа/слова-понятия происходит аннигиляция его смысла в обыденном/узуальном общении, то в художественной речи частота использования слова-образа приводит к его сверхфокусировке и сверхусилению. Иначе говоря, слово-образ «грех» становится сверхнагруженным и сверхчетким в семантико-аксиологическом отношении и интериоризуемым именно в этом своем качестве – в качестве внезапно или пос-

тепленно осознаваемой ценности/установки. Это состояние выхода из автоматизма обыденности отнюдь не является комфортным. А учитывая интравертивный тип личности Катерины – невыносимым. И гроза не могла не придти.

(Примечание. Рефлексирующие персонажи крайне редко встречаются в пьесах Островского, что, по-видимому, естественно: существование-в-обыденности запрещает выход за свои пределы, препятствует установлению, говоря словами В. С. Соловьева, сизигических отношений (см.: Соловьев 1991, 138), оставляя человека наедине с самим собой. Правда, выход все же возможен: Аристарх, мастеровой-самоучка, из «Горячего сердца» находит его, «исправляя» реальность ирреальностью, пытаясь внести в сценарий пьесы обыденности элементы игры (см. действие четвертое в «Горячем сердце» – Островский 1935, 259–268)).

Конечно, стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она – наша жизнь!» (Басё. Бусон. Исса... 1993, 91),

но если приходит гроза – то не до слов. Да их и не успевают найти. И не до раздумий о благородстве в условиях пограничной, экзистенциально неустойчивой ситуации.

Именно в этих условиях совершаются деструктивные – вплоть до самоубийства – поступки, ибо, выламываясь из нахождения-в-обыденности, можно или опуститься ниже нуля существования или подняться выше его. Словом, возможно или осознание того, что «...исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая и исключительно житейский союз» (Соловьев 1991, 139), или самоуничтожение. Катерина выбирает второе. И иного выбора у нее не было, ибо жить, принимая неизбежность этой аномалии, можно лишь в том случае, если и окружающие соглашаются быть аномальными: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно, всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только в самих себе» (Соловьев 1991, 119).

В «Грозе» вдоволь «своего» эгоизма, не признающего «чужого», споров и конфликтов одного эгоизма с другим, вдоволь обыденности, исчерпавшей свои возможности. «Гроза» – это обещание времени, в котором не будут признавать то ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЕЗУСЛОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, о котором говорил В. С. Соловьев, времени, когда «...женщины перестают быть женщинами. Они покидают дом и уходят на форум. Мужчины перестают быть мужчинами. Они покидают форум и возвращаются домой. Женщины хотят быть социально полноценными. Мужчины возвращаются к очагу, к дому, чтобы не быть пустыми. Нет больше ни мужчин, ни женщин; ни общества, ни дома» (Гиренок 1995, 99). Словом, время «Грозы» – это антисизигическое время.

Предугадав наступление этого времени, А. Н. Островский намекнул – в манере, свойственной лишь художнику – и на глубинные причины деформации межличностных/семейных отношений.

Если «Гроза» – один из видов «бытовой» сказки, а это так, то стоит приглядеться к ее архетипическим составляющим (см. в связи с этим: Франц 1998, 64–68, 97–101, 116–138, 176–188, 257–260), «распределенным» за персонажами пьесы.

Вот семья Кабановых: Марфа Игнатьевна Кабанова (вдова), ее сын Тихон Ильич, Катерина, жена Тихона, Варвара, его сестра. Классический четырехугольник.

Для рассмотрения этого четырехугольника особенно важными, на мой взгляд, оказываются понятия АНИМА и АНИМУС (см. в связи с этим: Юнг 1994): «Анима в качестве категории женского рода есть фигура, компенсирующая исключительно мужское сознание. У женщин же такая компенсирующая фигура носит мужской характер, поэтому ей подойдет такое обозначение, как анимус» (Юнг 1994, 274). Учтем также и следующее положение К. Г. Юнга: «...мужское начало в женщине я обозначил как анимус, а соответствующее женское начало в мужчине – как анима» (Юнг 1999, 135, прим. №1). Иными словами, и мужчина, и женщина есть совокупность/целостность и анимы, и анимуса, точнее говоря, анимус есть ЖЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о мужчине, а анима – МУЖСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о женщине.

Так как в нашем четырехугольнике соотношение женщин и мужчин равно 3:1, то оказывается, что семья Кабановых – это семья-анимус, семья, преимущественно ориентирующаяся на женские представления о мужчинах. Мужские представления о женщинах (Тихон) или осуждаются (см. диалоги Марфы Игнатьевны и Тихона, Тихона и Катерины), или оцениваются как предосудительные (упреки адресуются и Борису Григорьевичу, и Ване Кудряшу).

Катерина пытается даже не уравновесить, а лишь усомниться в целесообразности/комфортности таких непаритетных отношений. И проигрывает: она не нужна подступающему феминистическому будущему.

Литература

Басё. Буссон. Исса. Летние травы. Японские трехстишия. М., 1993.

Гиренок Ф. И. Метафизика пата (косноязычие усталого человека). М., 1995.

Островский А. Н. Сочинения. М., 1935.

Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.

Мария-Луиза фон Франц. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. СПб., 1998.

Юнг К. Г. Психология бессознательного. М., 1994.

§27. Глагол ПРОИЗВЕСТИ/ПРОИЗВОДИТЬ: универсализация или что-то иное?

Прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно привести несколько цитат. Первые будут касаться статуса глагола как такового/статуса его как предикативной единицы, вторые – его толкований в двух, по крайней мере, словарях – В. Даля и «Словаре русского языка» (СРЯ).

1. «Глагол – ...часть речи, выражающая грамматическое значение действия (т.е. признака подвижного, реализующегося во време-

ни) и функционирующая по преимуществу в качестве сказуемого. <...> Во мн. языках различают собственно Г. и так наз. Вербоиды. Собственно Г., или финитный Г... используется в предикативной функции и, т.о., в языках типа русского обозначает «действие» не отвлеченно, а «во время его возникновения от действующего лица» (А. А. Потемня), хотя бы в частном случае и «фиктивного» (ср. «светает»). <...> Вербоиды... совмещают нек-рые черты и грамматич. категории Г. с чертами др. частей речи – существительных, прилагательных или наречий. <...> По признаку семантически обусловленной способности «открывать вакансии» для актантов все Г. делятся также на ряд валентностных классов, соотв. формально-логич. классам одноместных и многоместных предикатов... Так различают одновалентные Г. («спит» – кто? «существует» – кто или что? «знобит» – кого?), двухвалентные («читает» – кто, что? «любит» – кто кого или что? «хочется» – кому чего?), трехвалентные («дает» – кто кого или что? кому?) и т.д. Особую группу составляют «нульвалентные» Г., обозначающие некую нечленимую ситуацию и потому неспособные иметь хотя бы один актант («светает», «морозит»). Переходные Г. получают (или могут получать) прямое дополнение (обычно они обозначают действия над к.-л. объектами, материальными, идеальными, их восприятие, эмоции по отношению к ним и т.п.: «шью пальто», «решаю вопрос», «вижу лес», «люблю детей», «даю книгу брату»). К переходным относятся и те одновалентные Г., единств. актант к-рых принимает форму прямого дополнения («меня знобит»). Непереходные Г. не сочетаются с прямым дополнением («брат спит»), но могут иметь др. типы дополнений («радуюсь весне», «любуюсь закатом», «отступаю от правил»), наз. косвенными. Г., требующие косвенного дополнения, объединяют в группу косвенно-переходных. <...> В др. плоскости лежит разделение Г. на динамические и статические. Динамические обозначают действия в прямом смысле слова («рублю», «пишу», «бегу») или же события и процессы, связанные с теми или иными изменениями («чашка разбилась», «дерево растет», «снег тает»). Статические обозначают состояния, зависящие от воли субъекта («стою») либо не зависящие от нее («болею», «мерзну»),

отношения («соответствует», «превосходит»), проявления качеств и свойств («травка зеленеет» в значении видится «зеленой»). <...> Динамич. Г. могут быть «предельными» и «непредельными». Предельные обозначают действия, направленные к пределу и исчерпывающие себя с его достижением («свеча догорает/догорела», «я наполняю/наполнил стакан водой»). Непредельные обозначают действия, не предусматривающие предела в своем протекании («смеюсь», «беседую»). Есть промежуточная группа «двойственных» Г., выступающих и в предельном, и в непредельном значении (ср. «пишу/написал книгу», «курю/выкурил папиросу» и непредельное значение «пишет хорошо», «много курит») (Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 104–105).

2. «Глагол... Часть речи, выражающая действие или состояние как процесс и характеризующаяся такими грамматическими категориями, которые указывают на отношение высказываемого к моменту речи, действительности, участникам речевого акта и т.п. (т.е. времени, наклонения, залога и др.), а также синтаксическим употреблением в функции сказуемого и особой системой формо- и словообразовательных моделей» (Ахманова 1966, 101–102).

3. «Производить, произвести или произвесть что, творить, соиздать, создавать, чинить, делать, совершать, рождать, ждть, быть причиною чего. <...> Производить что из чего, выводить, приписывать или относить к чему, как следствие, как происшедшее; объяснять происхождение чего, проследить порядок этого. <...> Приказное, производить дело, иметь письменное, текущее дело на своих руках и на ответственности. *Производить следствие, произвести над кем суд*, допрашивать и следовать, делать дознание, розыск; судить приговаривать. || -кого во что, повышать, жаловать чином, подымать в чинах, степенью выше» (Даль 1882, 486).

«Произвести... 1. Сделать, совершить. <...> 2. Выработать, изготовить. <...> 3. Вызвать, породить. <...> 4. Родить. <...> 5. (с предлогом и старой формой вин. п. мн. ч.). Присвоить звание, чин...» (Словарь русского языка, 1984, 489). «Производить... 2. Устанавливать происхождение кого-, чего-». (Там же, 489).

После этих справок я хочу сделать следующую оговорку: ниже следующие контексты употребления глагола произвести/произ-

водить отнюдь не преследуют цели доказать их ущербность – полную и окончательную. Иными словами, они не являются теми стилистико-семантическими ДЕСТРУКТЕМАМИ, которые свидетельствуют о слабых креативно-речевых возможностях того или иного автора или переводчика. Эти контексты отнюдь не равнозначны таким, например, высказываниям: «Закрыв глаза, она напрягла лоб и замолчала», «Нелька мигом натянула тапки» (Шилова 2001, 8, 275), «...на земле лежал распростертый ротвейлер» (Шилова 2001-а, 342), «...к двадцати годам поимела персонального филера в вашем лице», «...мужчина в надежном плаще с капюшоном...» (Горохов 1998, 218, 290), «...когда я постучал, услышал, как внутри заскрипел пожилой стул», «...я не могу позволить себе впадать в любовь, как ты», «...и вот он один полез делать весьма опасные розыски» (Ладлэм и др. 1993, 380, 396, 428), «...телега стояла впереди лошади, но если я пойму, какую упряжку нужно растянуть, то смогу поставить их, как полагается» (Детектив США 1991-а, 88; переводчицы Г. Николаева и С. Белова), «...волосы длинные черные маслянистые, зачесанные в “помпадур”», «...у меня были часы-брошка, глупое создание. Было почти четверть пятого» (Там же, 282, 423).

Не разбирая детально эти высказывания, укажу лишь на следующее – по-видимому, они свидетельствуют о таких структурно-семантических сбоях, которые О. В. Кукушкина характеризует как «целое» вместо «часть целого», ложная принадлежность, признаковая тавтология и др. (см. по этому поводу: Кукушкина 1998, 69–245).

С учетом этой оговорки посмотрим, каким образом используется глагол произвести/производить в оригинальных и переводных русскоязычных контекстах. Начнем издалека: а) Н. С. Лесков – «...решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским», «...покойный Шевченко действительно скончался в Петербурге, и отпевание его производилось в церкви Академии художеств...», «некоторые из этих речей тогда производили такую сенсацию, что генерал-губернатор находил даже нужным позаботиться скорейшим окончанием всех церемоний погребения поэта» (Лесков 1958, 19, 27–28),

б) П. М. Бицилли – «...всего чаще... производится выбор: лишь определенная группа культурно-исторических фактов признается действительно “национальной” или “народной”» (Бицилли 1996, 72).

(Примечание. Споры П. М. Бицилли с С. Волконским и Г. Адамовичем о мере допустимого в русском языке/о предельной мере его деструктивности актуальны и сейчас, но найти эту меру столь же трудно, как трудно было ее найти во времена этих споров. Если Г. Адамович считал, что «...русский литературный язык по сравнению, например, с языком французским неповоротлив, не точен, не гибок и под внешней законченностью, внешней крепостью и стройностью обнаруживает рыхлость и прелость. При действительно «великом и могучем» избытии слов и первоначальных средств он скуден сочетаниями и оборотами, особенно в области глаголов. Его губит тирания плохо проработанной, неосновательно капризной грамматики» (Бицилли 1996, 662), то, по мнению С. Волконского, необходимо «во-первых, признать неправильность, оскорбительность, вульгарность некоторых оборотов, слов, ударений, проникших в обиход, признать их противоречие тому духу высокого словесного благородства, к которому приучали (уву! приучали, но не приучили) нас великие наши писатели. Во-вторых, в том корень задачи, – чтобы внушать людям любовь к благородству языка и отвращение к пошлости» (Там же, 663–664), а П. М. Бицилли противопоставлял им следующие аргументы: «Над миллионами и десятками миллионов реально существующих «языков», число которых равняется числу в данный момент говорящих на данном «языке» людей, возвышается нечто среднее – именно этот «общий язык», та стихия, тот Океан, коего все эти «языки» суть капли, та верховная инстанция и граница индивидуального языкового произвола, которая пребывает в грамматике и в словаре, выражающих собою с более или менее исчерпывающей полнотой «образ» и «норму» данного языка «вообще», отвлеченные от творений художественного, научного и т.д. слова, от «средней» речи классов, задающих тон, – граница, представляющаяся в этот данный момент абсолютной и непреходимой, на самом же деле постоянно переходимая и в результате повторных и массовых переходов, постоянно и незаметно как-то меняющихся. <...> Всякое

обогащение языка скорее благо, нежели зло. Поэтому и галлицизмы бывают «милы». <...> «Искажения» и «народные этимологии» часто бывают полны смысла. Иной раз они нелепы. Но время все покрывает. <...> Вообще, в сфере жизни языка внимания и бдительности требуют, по-моему, не те явления, которые по преимуществу интересуют и тревожат кн. С. М. Волконского, а на западе составителей «академических» словарей. Это все явления, с одной стороны, очень так сказать грубые, бросающиеся в глаза, по большей части незначительные по сфере своего распространения («местечковые», «слободские»), обнаруживающиеся лишь в очень скромной социальной обстановке (кто, кроме мещанок и писарей говорит «интересант» – слово, беспокоившее кн. Волконского, – или «ухажер») – а с другой, такие, с которыми все равно – средств борьбы не придумаешь» (Там же, 598, 601–602).

Итак, перед нами три точки зрения, и, по-видимому, несовместимые. Различающиеся и по уровню терпимости к языковым/речевым деструкциям, и по оценке склада/характера русского языка. Показателен, например, вопрос П. М. Бицилли: «Почему законен язык «большинства образованных людей», откуда отвлечены правила его использования, а язык Толстого беззаконен? Получается явная нелепость: оказывается можно быть великим писателем земли русской и не понимать, не чувствовать «духа» русского языка» (Там же, 599). На мой взгляд, точка зрения П. М. Бицилли наиболее продуктивна: для него язык – это некая стихия элементов, которыми люди обмениваются в процессе общения, зачастую бессознательно/автоматически/стереотипно/устойчиво. Но структура и порядок, считают И. Пригожин и И. Стенгерс, взаимосвязаны с диссипацией/потерями, с некоторой неравновесностью, с забыванием первоначальных условий, «позволяющем «этим элементам комбинироваться хаотически. Говоря иначе, языковые элементы/речевые элементы, которые вслед за И. Пригожиным и Н. Стенгерс можно было бы назвать языковыми/речевыми «гипнонами»/«сомнамбулами» и которые ранее двигались «как во сне», «не замечая друг друга» (Пригожин, Стенгерс 2001, 116, 133, 253), «просыпаются» и «замечают» друг друга. Но нельзя не признать, что и в критике С. Волконского есть свой резон. И сейчас «вульгарность не-

которых оборотов слов» – отнюдь не редкое явление. Эта вульгарность, а в ряде случаев и комичность, особенно усиливается на фоне авторской семантико-синтаксической «афазии» и «отдаленного» понимания тех или иных лексических единиц. Показательны в этом отношении следующие примеры: «Вынужден был опуститься до такой низости, – без всякой аффектности ответил Картуз, лицо его вновь выразило подозрительность...» (Горохов 1998, 392, 315), «...я и так получила от тебя ранение, выслушала кучу грубостей...», «...увидев меня, отымел уже глазами тысячу раз!», «...мне кажется, ваша кувалда может в любой момент быть задействована» (Шилова 2001-а, 35, 64, 105). А среди этих примеров вдвойне показательны те, которые относятся к разряду «сделаем вам благородно и красиво»: «Моей самой большой слабостью всегда была белая норка – только не какая-нибудь крашенная подделка, а норка-альбинос. Когда я вижу этот мех, то трепещу с такой дикой силой, что уже никто не может меня остановить» (Шилова 2001, 237), «...таких роскошных ресторанов я еще не видела. Огромный мраморный зал, украшенный старинными картинами и иконами...» (Шилова 2001-а, 28).

После этой – довольно продолжительной паузы – вернемся все-таки к примерам использования глагола произвести/производить: в) «...в дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий 2003, 100), «...в эту минуту он уже открывал дверь своей комнаты, в которой произвели генеральную уборку и даже поставили на стол цветы» (Сименон 1991, 235), «...обожженные при взрыве янки облепили понтоны, тут же производя переключку команды, чтобы выяснить имена погибших» (Пикуль 2005, 112; ср. «производя переключку» с канонической коллокацией – «...когда взводы построились и сделали переключку, обнаружилось, что многих все же недостает. Фадеев» (СРЯ 1984, 691)), «...только в четырех случаях из ста, официально зарегистрированных в полиции, производится арест предполагаемого преступника» (Детектив США 1990, 139, пер. В. Вебера; ср. с канонической коллокацией – «взять под арест» (СРЯ 1981, 45)), «...далее приводится стенограмма магнитофонной записи, произведенной сотрудниками специальной комиссии...» (Детектив США

1991-а, 311; ср.: «Записать – нанести на пленку, на пластинку с помощью звукозаписывающего аппарата. Записать концерт. <...> Действие по глаг. записать – записывать... Запись на пленку» (СРЯ 1981, 556)), «...наверное, полиция перевернула все здесь вверх дном, но произвести осмотр все равно надо» (Детектив США 1991-б, 362; ср.: «Осмотр <...> Действие по знач. глаг. осмотреть – осматривать... Внимательно, со всех сторон посмотреть на кого-, что-л.» (СРЯ 1982, 649)). В данном случае было уместнее использовать глагол *осмотреться*. Ср. также и с таким случаем глагольной «афазии»: «Табак незнакомый, но все равно с удовольствием отведал бы сейчас сигарету» (Детектив США 1991-б, 250), ибо *отведать* истолковывается следующим образом: «пробуя, съесть или выпить немного чего-л.; попробовать» (СРЯ 1982, 665).

Помимо такого рода примеров – а их количество можно увеличить – встречаются (их тоже немало) и такие, когда некий агент «осуществляет задумку» или нарциссически удваивается: «лично я тоже не люблю..., лично я не верю...».

Итак, что же произошло и происходит с глаголом *произвести/производить*? Во-первых, сузились контексты его употребления в тех значениях, на которые указывал В. Даль (приказн. и производить кого во что). Во-вторых (но, может быть, я ошибаюсь), этот глагол становится суперстатическим и супернепредельным, а в ряде случаев, но не всегда, все более безличным (см. в связи с этим статьи **ЛИЦО** и **ЛИЧНОСТЬ – БЕЗЛИЧНОСТЬ** И **КАТЕГОРИЯ** в Лингвистическом энциклопедическом словаре (1990, 271–272). Иными словами, «действие» становится все более отвлеченным, а время его возникновения от действующего лица неопределенным/факультативным. А само действующее лицо оказывается даже не фиктивным, а иллюзорным/миражным. В-третьих, из всей совокупности значений глагола *произвести/производить* «выбираются» преимущественно два значения: *совершать/делать* и *создавать/рождать*. Например, в высказывании «...может, кто-то видел место, откуда был произведен выстрел...» (Шилова 2001, 274), «произведен выстрел» равнозначно не только тому, что он был совершен/сделан, но имплицитно и тому, что он был кем-то «соз-

дан/рожден». Ср. с пунктами а) (Н. С. Лесков) и б) (П. М. Бицилли), в которых «производить» означает не что иное, как «совершать».

Литература

- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996.
Горохов А. Шантаж – дело не женское. М., 1998.
Даль В. Словарь живого великорусского языка. Т. III. СПб.– М., 1882.
Словарь русского языка. Т. I. М., 1981.
Словарь русского языка. Т. II. М., 1982.
Словарь русского языка. Т. III. М., 1984.
Детектив США. Сб. Вып. 2. Калининград, 1990.
Детектив США. Сб. повестей. Вып. 10. М., 1991.
Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах. М., 1998.
Лесков Н. С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. Т. 11. М., 1958.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Ладлем Р. Уикенд Остермана. Карре Д. М. Звонок мертвецу. Спиллейн М. Я гангстер. М., 1993.
Пикуль В. Реквием каравану PQ-17. Мальчики с бантиками. М., 2005.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2001.
Сименон Ж. Маньяк из Бержерака. Танцовщица «Веселой мельницы». Суд присяжных. М., 1991.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу. Донецк, 2003.
Шилова Ю. Королева отморозков. М., 2001.
Шилова Ю. Воровки. М., 2001.

Раздел II: РЕПЛИКИ (ПО САМЫМ РАЗНЫМ ПОВОДАМ)

§1. Ашот Сагратян и его «Введение в опыт перевода» (рукопись)

Риск ознакомления с таким опытом – общеизвестен. И рисковать решаются не очень многие: и опыт почти неуловим, существуя в таких приемах/установках, которые если и осознаются, то как специфически не передаваемая другим «отдельность», и теория зачастую противоречит опыту, и конечный результат может быть оспорен не только оппонентами, но и самим переводчиком.

Книга Ашота Сагратяна состоит из шестнадцати глав, но такое разбиение в высшей степени условно: перед нами ОДИН, но ветвящийся монолог, один предмет, обсуждаемый с разных точек зрения. И имя этому предмету – перевод как процесс и результат. Ашоту Сагратяну хочется рассказать о нем, опираясь на те интуитивно выбираемые «правила», которые, очевидно, не могут быть представлены в виде списков-аксиом, но в которых и заключается вся «соль» перевода. Хочется рассказать о «самоосновных явлениях» (см.: М. Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997. С. 28), лежащих в основе переводческой деятельности.

Парфразируя слова В. Подороги о М. К. Мамардашвили: «Он не умел писать. Таков приговор. Он умел говорить. Таково смягчающее его вину, но не отменяющее приговор обстоятельство» (В. Подорога. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992–1994 годов. М., 1996. С. 230), можно было бы сказать, что Ашот Сагратян не хочет уметь писать, он хочет уметь говорить. Говорить о самоосновных явлениях, опираясь и на «метафорическую арматуру» (Там же, 232), и на арматуру рассуждений-силлогизмов (рациональную арматуру).

Скажу откровенно: рациональная арматура выглядит не всегда складно – «...производить психоландшафтную рекогносцировку», «критерии озарений», «интонативный характер гармонии». Правда,

Ашот Сагратян может сказать, что «...фраза, которая не ошарашивает, даже если она абсолютно истинна, не всегда приводит в движение нашу мысль» (Мамардашвили 1997, 88). Конечно, это так, но все-таки если и ошарашивать – то чем-то стилистическим и образно умопостигаемым (или постигаемым как аффективная очевидность).

Открыто возражать против такого «условия» ни один поэт-переводчик, очевидно, не будет. Втайне же каждому не дает покоя Журден, которому очень хотелось оказаться в бытии поэтической речи, которая притягивала его, как временами притягивает поэта-переводчика прозаическая речь. Притягивает, или обманывая его, или удаваясь ему (таков, например, микротреюд о Чаренце).

Предлагая обсудить «метафорическую арматуру» своих переводческих версий (стихотворения Чаренца и Исаакяна, а в последнем случае он спорит с А. Блоком), Ашот Сагратян несколько лукавит: спорить не о чем, ибо и та, и другая версия и верна, и неверна, являясь авторской проекцией (по Н. А. Рубакину), а ее характер ингерентно обусловлен идиолектными и групполектными образно-тропологическими предпочтениями. Всякому овощу – свое время. Слава Богу, Ашот Сагратян умеет кое-что выращивать. И большего он от себя, а мы от него требовать не можем.

Короче говоря, примем опыт Ашота Сагратяна. И будем ждать других «огородников», повторяя про себя:

«Лишь грамота и вы – других не видно родин.

Коль вытопан язык – и вам не устоять.

Светает, садовод! Светает, огородник!

Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Я этою весной все встретила растенья.

Из-под земли их ждал мой повивальный взор.

Есть тайна у меня от чудного цветенья.

И как же ей не быть? Все, что не тайна – вздор».

(Б. Ахмадулина. Гряды камней. Стихотворения 1957–1992. М., 1995. С. 168).

И последнее, о чем нужно упомянуть, но лишь упомянуть: опыт Ашота Сагратяна – это опыт представления того, как ритм духа од-

ной этнической литературы/культуры может быть совмещен с ритмом духа другой литературы/культуры (например, русской и армянской, армянской и английской). Словом, это игра в бисер с явным гумбольдтианским привкусом. А она – всегда интересна.

§2. Ситуативные перекрестки

Первый. Власть предержавшие кипят и клокают заказным крутым кипятком. Исходят паром и шипением от неожиданностей и оскорбляющего душу афронта – оказывается, у нижестоящих портянки опять не батистовы и опять не накрахмалены. Хотя еще Бендер обещал своему подельнику, что их-то они и будут носить и крем «Марго» жрать. И самое главное – не те оказались портянки. О сапогах никто даже не заикается: дело десятое. Да и они давно сгнили: и подошвы, и голенища.

Второй. Еще в «застоечном» Сухуми мой приятель абхаз передавал в лицах, как двое грузин, родственников, обсуждали «дело о разводе» – оно напрямую касалось их – и все не могли понять, чем же руководствовались власти! Но сходились в одном: «Потому такой вывод, что такой морал». Сходились в интуитивном понимании существования изломов в межличностных отношениях (отношения между мужчинами и женщинами).

Попробуем определить температуру этих отношений, глядя на градусник «Русского ассоциативного словаря». МУЖ: «...верный, любимый, хороший..., пьяница, рогатый, неверный, ревнивый, грозный, дурак, злой, изменил, козел, идиот, изверг, измена, импотент, дубина, дьявол...». ЖЕНА: «...верная, любимая, моя, хорошая..., дура, злая, сварливая, неверная, воровка, шлюха, ворона, ужас». ЖЕНШИНА: «...красивая, мать, молодая, красота, умная, добрая, зверь, зло и счастье, исчадие, каторга, змея, крокодил, потаскуха, прелесть, тварь, чужая, шипы...». МУЖЧИНА: «...сильный, высокий, красивый, умный, любимый, смелый, добрый, симпатичный..., самец, глупый, лысый, эгоист, биологически слабый, гулящий, Дон Жуан, дрянь, дуб, дурак, животное, жулик, подлец, сволочь, страшный...».

Такая амбивалентность оценок фиксируется и художественной литературой, для которой характерны две тенденции: одни авторы ориентируются на имплицитное описание сексуальной/эротической жизни (см., например, «Не помнящая зла», «Абстинентки», «Новые амазонки», а также публикации в журнале «Глас»), другие – на эксплицитное описание интимной жизни (Н. Медведева и Э. Лимонов, Ф. Лустич и Д. Асламова).

(Примечание: Попытками найти/обрести самих себя в играх – в серьезных играх, по Хейзинге, – и объясняется обилие текстов-конфессивов (причем, самых разных – сексоконфессивов, эротоконфессивов, порноконфессивов, см. в связи с этим газету «Еще» (раздел «Переписка»)). Эти же игры можно рассматривать в качестве систем защит (А. Фрейд) против такого ментально-поведенческого/ментально-когнитивного состояния общества, которое не может не оцениваться как катастрофическое: экзальтированный интерес к самооценности личности без понимания того, что найти эту самооценность – и себя, тем самым, можно только в другом (о чем писали и Ортега-и-Гассет, и Ясперс, и Камю, и К. Леонтьев, и Бердяев).

Эти игры – поиск эротического языка/языка эроса, которого у нас, по сути дела, не было и нет до сих пор. Забыты даже барковские традиции (и традиции его «школы»)).

Третий. У нынешних половых – неясности и смятения. Запутались с меню. Или, говоря жестче, с разблюдовкой! Раньше знали, к кому и когда должен течь «ручей консоме». Топографические метки на «долине меню» были выучены наизусть. Метрдотель бдил: только одна бутылка на столе, но постоянная. Захотел Хлынов поливать шампанским дорожки – пусть и поливает.

Сейчас – все смешалось в доме Облонских. Неясно, что и кому подавать. И в каком порядке. И нужен ли гарнир. И за какую цену. И вообще – где «ручей»? А клиенты? Закажут ли они музыку? Да и услышат ли ее?

А теперь о сути обсуждаемых проблем, но без иносказаний. Гоструктуры всегда будут враждебны (или полувраждебны) к эросу и сексу. Постоянная или полупостоянная враждебность бдящих объясняется фискально-ролевой/фискально-родовой ориентацией власти, рассматривающей людей как объекты, с помощью которых она

насыщается деньгами, привилегиями и престижем. Власти нужны, прежде всего, роботы с жесткой и однозначной программой поведения, нужны компьютерно-биоидные организмы, а не личности, ориентированные на саморазвитие и самоосознание, на жизнь как на путь построения самих себя и обретения бессмертия в любви (ступеньки к этому – эрос и секс). Власть молится сиюминутной конкретике и прагматике, ей вряд ли понятны такие боги, как андрогинизм, духовная телесность и богочеловечность (В. Соловьев) или поиски такого состояния – указывающие, в свою очередь, на тотальную богооставленность/тотальную смыслоутраченность, – в котором лицо другого пола воспринимается как «цель сама по себе» (В. Соловьев).

Власти всегда хотят «отравиться политическими принципами, принять слишком много государственности внутрь» (К. Леонтьев, вспоминая слова К. Аксакова). И всегда ее не хватает. И особенно в том случае, о котором рискнул написать С. Кьеркегор, убеждавший себя в том, что «...вся жизнь – повторение, и что в этом ее красота... Надежда лишь заманчивый плод, которым, однако, сыт не будешь, воспоминание... жалкий грош про черный день, а повторение – хлеб насущный, благодатно насыщающий». Формы поисков, конечно, могут шокировать. Например, гомосексуализм и лесбиянство. Запретить и преследовать? Наказывать? Но можно ли и нужно ли наказывать за глубинные установки/за «факты сознания» (по Мамардашвили и Пятигорскому) тех, кого В. Чалидзе, например, рассматривает как маргиналов, как микрогруппы с особым генотипом, чье существование гарантирует популяционную изменчивость и культуральную вариативность общества? Если эти микрогруппы – популяционный запас, то не целесообразнее ли его сохранять? (Знаю – власти и человек с улицы скажут: «Уничтожить»).

И еще об одной микрогруппе ищущих – о феминистках. Помоему, нынешний отечественный феминизм – это форма маскировки честолюбия авторитарности: «Какое-то время нам придется играть по правилам мужской политики, пока мы сможем делать «свою» игру – политику в интересах женщин» – вот в каком духе выражаются наши феминистки. Их мало занимают секс, любовь, ревность, ценность телесности и гораздо больше – «дисциплинар-

ные тела» (М. Фуко), а отнюдь не «карикативные». Их интересует не антилогика секса и эроса, а, прежде всего, «логика дисциплинирования, логика неестественного, кровавого и насильственного коитуса...». Но не только. Обсуждается и выгодность существования женщин для мужчин, и эгоистичность мужских установок: «Гад он оказался и негодяй. Пользовался мной и ел мою курицу».

Четвертый. Заключительный, а посему и самый короткий. Шутки шутками, но все-таки будущее предложит выбрать и новое поведение, и новое искусство (литературу). Придется решать, что нам дороже: «вторичное смещение» (К. Леонтьев) или общество со сложной социальной психодинамикой, сложной «социальной морфологией», «тьмы истин» или «возвышающий обман».

§3. Ей нет завершения – этой веселой и грустной игре

Признаюсь: сначала я хотел написать о нынешней секслитературе (или, если угодно, об эротической литературе), пообильнее цитируя ее (используя, например, тексты Медведевой и Асламовой (или Савченко), Лимонова и Никонова, Дарка и Яркевича), но потом передумал: иллюстративный материал годится лишь для подтверждения каких-либо отыскиваемых общих положений. Правда, и они не спасают – если их и находят, то соглашающихся с ними оказывается против 50% несоглашающихся. И иного ждать не приходится: в нашем прессингуемом обществе преобладают двухцветные оттенки. Мы все еще авторитарны – живем не на свой лад, а по камертону «за» или «против», «да» или «нет». И все-таки без общих положений не обойтись. Поэтому «забудем, – как советовал Чжуанцзы, – о ловушках для рыбы и будем ловить рыбу».

Начнем со следующих допущений, предложенных Эриком Берном: 1) мы живем в пространстве общения; 2) любой знак или любое действие, указывающее на «признание присутствия другого человека, есть трансакция»; 3) игра – это цепочка трансакций с «четко определенным и предсказуемым исходом». Она характеризуется скрытыми мотивами и наличием выигрыша.

Опираясь на эти допущения и прилагая их к современной секслитературе, можно, по-видимому, вытащить несколько рыб – не знаю, насколько крупных. Очевидно, во-первых, что в пространстве нашего общения существуют дефицитные зоны. И сугубо дефицитной оказывается зона межличностного общения, состоящая в основном из транзакций, которые оцениваются – осознанно или неосознанно – как пустые (инерционные) и предписывающе-идеализирующие. Секслитература предлагает взамен их транзакции чувственного характера, полагая, что в «прежней» (классической русской) литературе, если они и «обыгрывались», то прежде всего – за сценой, а не на сцене. Секслитература старается изменить фактуру пространства общения (я сказал бы: сделать его более терпимым), используя в этой борьбе шоковые (для нашего общества) формальные и содержательные средства. Иными словами, она, как и «прежняя» литература, хлопочет о «признании присутствия другого человека», но человека столь же серьезного, сколь и карнавального, упрекая – и стилистически, и поведенчески – свою противницу в пристрастии к типажам, а не к личностям.

Во-вторых, секслитература – это действительно игра с заранее известными результатами. Транзакции в ней хотя и автономны, но взаимозаменяемы, раскручиваясь не по параболе, а стремясь замкнуться в круг. Они конечны в своем наборе – конечны, как эхо памяти ситуаций, разыгранных еще Апулеем. Намеренно или нет, но человек представлен в них одномерным: он прежде всего озабочен своей телесностью, принимая и изживая ее не в качестве неотъемлемой абсолютной ценности, а как отчуждаемый доходный товар. Иными словами, «сексуальные альпинисты» почти всегда оказываются и социальными альпинистами, причем обратное встречается редко. У «сексуальных альпинистов» метод тождествен инстинкту, который стремится продать себя, маскируясь рекламными клипами – орнаментом, состоящим из отечественных и зарубежных НЕЧУВСТВЕННЫХ ценностей. Эти альпинисты стараются намекнуть, что они тоже не лыком шиты: пусть и не степные волки, но об игре в бисер слышали и даже пытались в нее играть.

На рекламном маскараде веселей под маской и Пьеро, и Коломбине. Веселей, но у маскарада все же странноватый ритм и атмос-

фера с привкусом эгоцентризма и птолемизма («...смутное представление о равенстве Я и мира, если не о превосходстве первого над последним» – А. Добрович), словом, привкус паранойи, указывающей на «дефект миропонимания и этическую глухоту», на «физический и метафизический страх» (А. Добрович). Грустный маскарад, не правда ли?

Но и на таком маскараде Арбенин, кажется, не оплошал: он приутилиз чужого туза. Допуская все-таки возможность иного исхода:

«Не откажите инвалиду:
Хочу я испытать, что скажет мне судьба
И даст ли нынешним поклонникам в обиду
Она старинного раба!».

В современных играх судьба в расчет не принимается. Штирневский Единственный опирается лишь на свое телесно-волевое достояние, стремясь утвердить его в профанном мире, который, как это ни парадоксально, он если и не презирует, то ненавидит. И это понятно: для нашего Единственного существует лишь телесный низ, и только эту лакомую частичку его он готов принять. Остальное, остающееся «нестерильным», замешанным на «телесном верхе» и платоновских эмпириях, мешает ему (эти помехи особенно досадны для персонажей прозы Сорокина и Ерофеева). Оказываясь в стрессовой ситуации, Единственный ищет и, конечно, находит выход. Правда, не настолько оригинальный, как бы ему хотелось. Он начинает – и это его третье качество – лихорадочно скупать сексуально-эротические «купоны» – одну из тех разновидностей психологических «купонов», о которых Э. Берн пишет следующее: «Психологические «купоны» чаще всего получают в дополнение к повседневным транзакциям. Так, например, супружеская ссора обычно начинается с какой-то мелкой реальной проблемы. Во время перебранки Взрослый одного из супругов занимается своим делом (ссорой), а Ребенок (в другом супруге) жадно ждет премиальных «купонов». <...> ...в четко структурированных супружеских играх возможности рассердиться обычно использует один из супругов, тогда как другой берет на себя вину или остается в состоянии недоумения. В результате оба «выигрывают», исполняя каж-

дый свою роль. <...> «Магазин», где отоваривают психологические «купоны», имеет тот же набор выигрышей, что и соответствующий торговый центр. За несколько «купонов» можно получить порой какую-нибудь мелочь, например, пофантазировать о недоступной женщине или о супружеской измене. А за солидную «купюру» можно выбрать что-нибудь крупнее: право плюнуть на все семейные неурядицы, развестись и уйти из дому или решить вопрос об уходе с работы». Итак, игры Единственного – это детские игры, подразумевающие опеку, оглядку на гласные и негласные авторитеты. При всей своей откровенности Единственный никогда не согласится с тем, что преследуют Родительские тени. Тень отца Гамлета уместна, по мнению Единственного, лишь в театре и литературе марионеток. Пусть и на одну сотую, но он нищезанец, хотя и корыстолюбивый. Преследовать допустимо только ему, отбрасывая, а еще лучше, не отбрасывая тень. Он копит и сортирует «купоны», прикидывая, на каком рынке межличностных отношений повыгоднее продать их. И все-таки он не делец (сказывается «советский синдром» или незнание сексуально-эротического маркетинга?), но и с этим он не согласится. Его жаль, как Ксанфа-софиста, пообещавшего выпить море.

В пограничных ситуациях Единственный не успевает реализовать свои «купоны»: и слишком много накопил, и судьба, которую он отстранил, встав на ее место, распоряжается ими по-своему (см. «Палача» Лимонова и «Сердца четырех» Сорокина). Она объявляет эти «купоны» или обесцененными, или просроченными, или подлежащими обмену, или фальшивыми. Игра заканчивается до нового перерождения, характер и формы которого продиктуются кармой игроков.

Если вышеприведенные главные допущения ошибочны, то второстепенные фоновые впечатления можно – и это вполне справедливо – вообще не принимать во внимание. Но я все же скажу о них.

Авторы, представляющие отечественную (и шире – русскоязычную) секслитературу, в худшем случае – сюрреалисты, а в лучшем – неореалисты, начинавшие в мастерской Дзаваттини, но сбегавшие от требуемой им тотальной ответственности в Голливуд. В «Метро Голдвин Мейер».

Перечитывать их – «тяжелый крест»: неинтересно снова «входить» в окончательность (герметичность) и авторских мыслей, и поступков и мыслей персонажей. Тексты не оставляют «люфта», какого-то зазора между тобой и ими. Они прополоты, как грядки: ни намека, ни недоговоренности, ни неокончателности. Если кто-то из игроков погибает, так и хочется сказать (прости Господи!): «Еще один сгорел на сексработе».

Авторы и их тексты очень похожи друг на друга. Наверное, потому, что телесному низу безразлично, какими будут его дети – лишь бы они были.

По-видимому, традиции (и опыт) русской сексуально-эротической литературы для современных авторов – «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». А между тем, эти традиции еще живы (и вряд ли умрут) в городском и сельском нецензурном фольклоре – единственном жанре, который дожил до сегодняшнего дня. И он предлагает такие словесные и несловесные игры, которые не грех бы использовать, конструируя похождения Единственного и Единственной (в какие бы группы они ни входили – в «розовые» или «голубые»).

Для секслитературы характерно и легкое косоглазие (конечно, оно не у всех авторов), наверное, объяснимое и мерой творческих способностей, и согласием с установкой, согласно которой авторский «голос» есть совокупность всех возможных стилистик (всех возможных речевых материалов). А в них, как известно, разрешено все, что не запрещено. И столько суверенитета, сколько удалось взять.

Корпус этой литературы неравномошен: прозаические тексты добротнее (качественнее), поэтические – ниже всякой критики, это в полном смысле действительные числа, меньшие нуля, отрицательные числа. Графомания не выправит этот крен (например, в газете «Еще»): ей не на чем вырасти. Плодородный слой сняли и захоронили, а для наращивания нового нужно время. И много. И человеческий материал. Для удобрения. А затем поживем и увидим.

Но вряд ли – мы.

§4. Разрешите вмешаться в спор?

Наверное, с этим вопросом нужно было бы обратиться к «Литературной газете», в которой 23 марта 1988 г. вышла статья Т. Глушковой «Куда ведет «ариаднина нить»?», но такое обращение заведомо бесполезно: еще ни одна газета и ни один журнал не позволяли оспаривать себя даже в ласковой форме на своей собственной территории, и, тем более, если возражения не были заказаны и предусмотрены. Рубрика «Полемика» – это утешительный приз для самих журналистов и пригласительный билет для читателей, но, как правило, просроченный или, во всяком случае, гостевой.

До последнего времени такая внутрижурналистская полемика отличалась и еще одной особенностью: это была «полемика в законе», «загсовая» полемика – полемика по договору и расписанию, согласованная или спланированная газетой или журналом. Ответ Е. Сидорова Т. Глушковой, как и другие примеры таких «диалогов» в «Литературной газете», является типичным образцом полемики такого рода. Сами затеваем спор – сами и отвечаем, оговариваясь, конечно, что «разговор будет продолжен». Но даже и это хорошо. Другим газетам и еженедельникам, например, «Московским новостям» или «Аргументам и фактам», и спорить-то затруднительно: приходится оглядываться на закордонную или выборочную публику.

До недавнего времени газеты и журналы старались не спорить между собой: существовало (а может быть, и существует) джентльменское соглашение, поощряемое тихой инструкцией, о невведении полемики между отечественными «точками зрения». Да-да, согласен, что это – недоразумение, только укажите, пожалуйста, с какого времени оно стало считаться таковым.

Статья С. Рассадина «...Все разрешено?» в вашем журнале («Огонек», № 13, 1988) – да и не только она, и не только в «Огоньке», – свидетельствует, что мы, слава богу, перестаем быть джентльменами хоть в этом отношении. Может быть, доживем и до тех времен, когда спорить начнут не по различным газетным и журнальным ведомствам, а там, где изначально завязался спор.

С. Рассадин ставит своей задачей охарактеризовать тот тип сознания, который представлен статьей Т. Глушковой, – сознания, насколько могут судить читатели, агрессивного и жесткого. Такому сознанию, а точнее говоря, вере, аргументы, например, Е. Сидорова столь же полезны, как мертвому припарки. Думаю, что покажутся неубедительными для Т. Глушковой и рассуждения С. Рассадина: агрессивно-жесткое сознание строится на отторжении чужих доводов и на принятии лишь своих силлогизмов как самодостаточных, непротиворечивых и очевидных. И самое главное – это сознание эгоистично, нетолерантно и двулично. Об этом, к сожалению, не пишут в своих статьях ни С. Рассадин, ни Е. Сидоров. Е. Сидоров, очевидно, не подозревает об этом, а С. Рассадин, хотя и знает, но, по-видимому, не хочет – из-за ненужной деликатности – бить по больному месту. Ведь ссылка критика на свою статью в «Знамени» и на статью С. Чупринина показательна: в их оценках и содержится ответ на то, почему синица-Глушкова пытается зажечь море. Если это случится – ей, как и многим другим, будет удобнее и спокойнее доклевывать вывешенное за окно чужое поэтическое сало. Поэтому она так старательно и бросает в воду спички своих рассуждений и аргументов. Поэтому-то и старается поджечь бересту чужих неудобных для нее судеб: за дымом удобно прятаться и кричать, что огонь уже занялся. Сюда же подбрасываются, хотя с трудом горят, и этически-«классические» или неуважимо-весомые смыслы. Они не случайны в контексте рассуждений Т. Глушковой: силлогизмы маскируют ее поэтическую личность, дают ей возможность видеть себя такой, какой хочется. Аленушкой-поэтессой, сидящей на неподдельном камне народности.

Я не иронизирую ни над первой, ни над второй: ирония в отношении этих образов неуместна, но моя метафора необходима – она позволяет уточнить языковой и понятийный портрет личности Т. Глушковой. Т. Глушкова – двойник, тень, вторичность. Двойник Б. Ахмадулиной в подходе к осмыслению мира, тень ее поэтической речи, почти неотличимый от «оригинала» виртуозный пересказ чужого. (И не только ахмадулинского «чужого». Это пересказ всех и никого. Некоторой «нормы», требующей: «Сделайте нам красиво!»). Этому учатся, но такая мимикрия нелегка. Предс-

тавьте Клавдию Шульженко, собирающуюся перейти даже не на оперную сцену, а в театр оперетты. «Наладившую» голос, нашедшую партнеров и репертуар.

Представьте себе также и неумение интуитивно и сверхсловесно, что присуще лишь талантливому человеку, «просчитать» будущее, свои возможности и меру поэтических сил. Добавьте к этому почти твердую уверенность в незыблемости узаконенной поэтической «обоймы» и убежденность, что самое главное – попасть в нее, и вы получите почти полный портрет Т. Глушковой. Она даже, наверное, и не догадывалась, что говорить по-ахмадулински – значит говорить в то время, когда сказать иначе было нельзя.

Выход позабытых и мертвых к людям – трагедия для Т. Глушковой. Они ей мешают. Они позволяют нам сравнивать ее голос с другими голосами. Т. Глушкова этого боится: мимикристы и стилизаторы по роду своей профессии чувствительны к сопоставлениям. Позабытые и мертвые подрывают уверенность в себе – налаженную и наезженную, – разрушают самооценку, отодвигают в запечный угол. Быть в этом углу она не хочет и не может: не хватает и мужества, и беспощадного осознания самой себя. Она предоставляет эту возможность другим, считая, что поэтическая «игра» – это игра без правил и с известным будущим. Те, кто ему угрожает – даже мертвые – выводятся на чистую воду. Судьба К. Некрасовой или Г. Шенгели ее не устраивает.

Я не буду переливать критическую воду и самой Т. Глушковой, и тех критиков, с которыми она спорит, из одного сосуда в другой: занятие малоинтересное и в данном случае ненужное. Разбираться, кто кому что возразил, разбираться в нарочитых или случайных ошибках и промахах – предоставим самой Т. Глушковой. У нее, наверное, есть для этого и избыточное время, и полная ясность относительно всех вопросов нашего прошлого и нынешнего литературного существования. О будущем – не говорю: в нем нужно ждать, как нас уверяет поэтесса, неинтеллигентской и нельстивой литературы.

Беда в том, что неинтеллигентской литераторы – не существует, если исходить из смысла слова интеллигенция. Но, конечно, Т. Глушкова в праве ждать и таковой: из любви к винограду мож-

но целовать и изгородь. Беда также и в том, что льстивой литературы тоже не существует; если таковая и имеется, то это – не литература. Это лишь сборники ответов на вопрос: «Чего изволите?» или, в лучшем случае, худосочные спекуляции, в которых должное выдается за сущее, временное за вечное, заемное за свое. Литераторов, выводящих такие «художественные виды» (очень плодотворные), – пруд пруди: от Д. Шейнина до В. Бокова.

Но вряд ли и Б. Пастернак, и О. Мандельштам, и А. Ахматова, и Н. Клюев могут быть отнесены к литераторам конъюнктурного типа. Иногда они фальшивили – из веры и страха, но в отсутствии мужества и совести их трудно упрекнуть. (Они и не могли, по-крупному счету (по-гамбургскому, как сказал бы В. Шкловский), быть иными: талантливые люди прежде всего совестливы и мужественны). Да, Б. Пастернак был «растроган» встречами с коллегами на первом съезде писателей, но он же отказался присоединиться к писателям, одобрявшим смертный приговор Якиру и Тухачевскому. Учитывает ли факты такого характера Т. Глушкова? Или они не «подходят» для ее флюсовой бухгалтерии?

Почему Т. Глушкова столь старательно разбирается в нелитературных поступках Б. Пастернака и забывает о его литературных – самых главных – поступках? Каждое лыко в строку? Не больше и не меньше? Но ведь для этого нужно считать себя богочеловеком. Или соломинка видна лишь в чужом глазу? Что ж, тогда этих соломинок нам не сосчитать. Вот, например, еще одна: воспоминания И. Твардовского, напечатанные в «Юности» (№3, 1988). Кто первый рискнет бросить камень в А. Твардовского? Может быть, Т. Глушкова? Факты еще похлеще: не о благополучии и здоровье, о которых пишет Б. Пастернак, не о первом съезде писателей, а о спецпереселенцах и о «душе» А. Твардовского (его семья была сослана, но он считал случившееся логичным и законным, как это объяснил в послесловии к воспоминаниям И. Твардовского критик Ю. Буртин).

Не может ли Т. Глушкова рассказать нам, чем она заслужила право считать соломинки? По каким праведным и горьким путям ходила в последние двадцать лет? Кого защищала? Как инакомыс-

лила? Где ее стихи, о которых могли бы оказать: «Это мы, о Господи!»? (С. Рассадин слишком мягко оценил последнюю подборку Т. Глушковой в «Новом мире» (№2, 1988), найдя там нашу «беду и боль». Ее стихи – это всего лишь упражнения (профессиональные, вполне годящиеся для обсуждения в каком-нибудь литобъединении в качестве примеров в версификации).

Не судите да не судимы будете – хочется посоветовать (только посоветовать) Т. Глушковой. Но если не можете удержаться, то судите лишь о литературных произведениях, о том, что в них – от вечности и справедливости, а что – от суеты и неправедных помыслов. Особенно если судите почти своих современников: ведь они, как и все мы, тоже ходили по непрямым путям, лукавили душой, мучились своей неправдой, разуверялись в своей правоте. Не понимать этого могут лишь люди или потерявшие память, или равнодушные ко всему, или озабоченные состоянием чужой совести: надзирать за ней становится для них потребностью и обязанностью. Под микроскопом рассматриваются и срезы тех мыслей, которые подозреваются в ложности. Такая «озабоченность» служит хорошей маскировкой для неуверенности в правоте своих житейских и нежитейских дел. Она делает человека нетерпимым, особенно если чужие мысли расшатывают веру в законность занимаемого в литературе места. Т. Глушкова, видимо, думает, что поэтами становятся, а не рождаются, что главное – «набить руку», а способности приложатся. По мысли же Д. С. Лихачева, помимо благоприобретенной табели о рангах существует еще и естественная. С этим-то Т. Глушкова и не хочет согласиться, ибо принятие такого допущения ведет к необходимости переоценки своих способностей.

«Жесткое» сознание или прячется от таких переоценок, или осуждает их как неблагоприятные.

«Жесткое» сознание, если пользоваться формулой Э. Фромма, хочет «иметь», а не «быть». Недавно Т. Глушкова выступала в Калининском университете. С той же «Литгазетовской» программой. Виват! и ура! – ей не не кричали. Кого же будет обвинять Т. Глушкова в этом случае? Кого персонально? В чьей совести будет копать?

§5. Еще одна реплика

10 сентября 1990 г.

Уважаемая редакция,

отвечаю вам с некоторым запозданием: решал – отвечать или нет, и все же решил написать. Подумал, что полемика сейчас – дело всеми, и особенно газетами и журналами, приветствуемое. Правоту тех шли иных утверждений можно оспаривать, не опасаясь, что контраргументы положат под сукно.

Но даже не это оказалось главным в моем решении. Меня поколебали полемические приемы, использованные т. Ароновым в своем отзыве-эссе, видимо, бессознательно привычные для рецензента. И не очень-то достойной пробы. Откуда они взялись? – То ли из полужастойных и застойных времен? То ли виной сама рубрика «Поговорим?», позволяющая, как, видимо, считает т. Аронов, говорить в духе Загорецкого? То ли сыграло роль «старое» увлечение т. Аронова – говорить стихами (а сейчас и прозой), сопрягая и нечто, и туману даль? Но что есть – то есть.

Итак, начну по порядку. Не спорю, «фиг его знает» – очень доказательно. И весьма уместно в эссе о христианстве и миродержавной любви. Особенно, если они окаймлены еще и латвийскими перелесками. Но вольному – воля.

Не спорю и с «добротными реалистами». Если т. Аронов считает, что существуют такие, наверное, такие и есть, как и недобротные. Не могу лишь согласиться с пониманием т. Ароновым самого понятия иносказания. По мнению рецензента, ни Теккерей, ни Диккенс не относятся к числу писателей «иносказательных». А вот У. Голдинг – относится. Если бы это мнение было сугубо личным, высказываемым на кухне, мнением т. Аронова – с ним не приходилось бы спорить, но спорить приходится, ибо нет не иносказательной литературы – если это настоящая художественная литература. И только т. Аронов умудряется навешивать на нее бирки с надписями: «добротный реалист (иносказание несвойственно)», «недобротный реалист, притча рассказывает (иносказание свойственно)».

Кстати сказать, Григорович – иносказателен, но формы его иносказания для нас оказываются, по-видимому, отжившими.

Не могу согласиться и с явной подтасовкой (зачем передергивать? Или это бессознательная привычка?): не о стилистической безупречности в духе Достоевского и Шаламова говорилось в моем предисловии, а о следовании этим писателям по пути самооценки, по пути взвешивания своего Я. Говорилось о том, что и Достоевского, и Шаламова, и Голдинга объединяют поиски смысла человеческого бытия. Того, что Бердяев называл христианской метафизикой истории (да, да, именно истории!).

Что же касается необходимости стилистического совершенствования голдингского перевода – то это очевидно. Но если считать, что истина «в самой что ни на есть последней инстанции» – стилистическая находка, а «так или иначе прозябающая любовь», «неотменимые приключения», «ужасные мифы, воплощающиеся в такие же смертоносные отношения» стилистически безупречны, то, конечно, я не прав. И у т. Аронова свое представление о стилистике. И, конечно, Федор Михайлович Достоевский, как считает т. Аронов, писал плохо.

И почти последнее – зачем же крохоборничать? Не проще ли было бы считать, что в слове «которая» – опечатка? Или этот пример нужен был для того, чтобы заявить, что такие стилистические промахи встречаются «буквально на каждом шагу»? Заявить, но не доказать дальнейшими примерами. Знаю, что в таких случаях говорится: «Размеры самой рецензии не позволяют...». Ну, ради таких примеров можно было бы пожертвовать и латвийскими перелесками, и кое-какими пассажами из разговора книгопродавца с поэтом (ведь т. Аронов все-таки не Пушкин).

Если щепетильность не позволяет т. Аронову примириться со словом «который» – позвольте проявить и мне такую же. В конце своего эссе он приводит байку о жестоких людях. Я не против нее. Я готов поверить, что и меня могут сжечь. И наверняка к удовольствию т. Аронова. Я против того, чтобы «заимствовать» такие байки у других (см.: Г. Гусейнов. Словарный запас. Век XX и мир. № 6,

1990. С. 43) и переделывать их по своему стилистическому вкусу. И ставить кавычки, которые означают не то прямую речь, не то указывают на «незначительные» изменения в использованной цитате.

Мне, конечно, лестно предположение т. Аронова относительно того, что многие «кинутся читать» т. Оцета, я лишь надеюсь, что оно не подтвердится. Упаси Бог от этого. Да и такое чтение характерно, по-видимому, только для т. Аронова. Те, кого он называет «многие», читают не совсем так, как это представляется моему рецензенту. Но его самоуверенность восхищает. И довольно редка: не каждый рискнет утверждать что-либо, имея самые смутные представления о читателе и ходе его чтения.

И еще одно предположение: оно касается того, чем же вызвано общее и частное недовольство т. Аронова моим предисловием к книге У. Голдинга. К той самой классической повести современного классика, как выражается рецензент (каков стиль, а? Поистине, в своем глазу и бревно не кажется соринкой). Это недовольство, вероятно, вызвано тем, что, по мнению т. Аронова, автором предисловия к У. Голдингу может быть лишь т. Аронов, я почти уверен, что если другие будут писать предисловия к голдинговским книгам, их ждут разносы и некорректные упреки. Короче говоря, и с ними мой рецензент постарается свести счеты. И не покусится на демагогию, в которой он упрекает других, чтобы отстоять «свою любовь» к классическим повестям современного классика. Ради «мое, не тронь» он будет забывать обо всем – даже о такой мелочи, как случаи издания его любимого У. Голдинга не только в журнале «Вокруг света», но где-нибудь и еще, и не замечать ссылок на издания в чужом предисловии. Virtuозен т. Аронов, что и говорить. Куда уж там булгаковскому Берлиозу.

Вот и все.

Надеюсь, что редакция найдет возможность поместить эту реплику в рубрике, ведущейся т. Ароновым. Он беседовал по моему поводу в номере вашей газеты от 29 августа с.г., и теперь – по справедливости – моя очередь.

Георгий Оцет

§6. Из забытых споров (мелочи из памяти)

Приезжая к Борису Климентьевичу Пашкову в его загородный дом и беседуя о разных материях, относящихся к маньчжуристике, я готовился к любым вопросам с его стороны, но одного все-таки не ожидал. «Читали ли вы Ляо Чжая?» – вдруг спросил он. Я честно ответил, что до оригинальных текстов еще не добрался и вряд ли доберусь, но с переводами В. М. Алексеева знаком и очень их ценю. «А вы знаете, что и у меня есть статья о Ляо Чжае?» – добавил Борис Климентьевич. Я ответил, что и слыхом не слыхивал. В ответ Борис Климентьевич взял со стола что-то, переплетенное в картон, надписал и отдал мне. Вот так 11 ноября 1961 года я получил от Б. К. Пашкова статью «Ляо-джай джи и. Опыт критико-библиографического обозрения», опубликованную в «Сборнике трудов профессоров и преподавателей Иркутского государственного Университета» (отдел I, вып. 2, 1921).

По-видимому, об этой статье мало кто знает. Во всяком случае, на нее не ссылаются нынешние исследователи-китаисты, как, впрочем, не ссылались и прежние. Даже у В. М. Алексеева можно найти лишь фигуру умолчания, хотя, он, по словам Бориса Климентьевича, не только прочитал статью, но и не совсем одобрительно о ней отозвался, что ему только пошло на пользу (стал известным в научных кругах). Где была опубликована рецензия (?) В. М. Алексеева – я не знаю. Ни о ней, ни о статье Бориса Климентьевича не говорится ни слова в алексеевской «Китайской литературе» (см.: В. М. Алексеев. Китайская литература. Избранные труды. Москва, 1978, раздел IV – китайская фантастическая повесть – состоящий из следующих статей: «Трагедия конфуцианской личности и мандаринской идеологии в новеллах Ляо Чжая», «К истории демократизации китайской старинной литературы. О новеллах Ляо Чжая», «Предисловие к “Монахам-волшебникам”»).

Этот факт можно объяснить лишь одним: пересечением научных (исследовательских) интересов, усугубляемым возможным соперничеством, свойственным и тридцатилетнему маньчжуристу

Б. К. Пашкову (1891–1970), и сорокалетнему китаеведу В. М. Алексееву (1881–1951).

Параллели между мыслями Б. К. Пашкова и В. М. Алексеева – очевидны: Борис Климентьевич считает прозу Ляо Чжая элитарной, так же характеризует ее Василий Михайлович (см. В. М. Алексеев. Китайская литература, стр. 309–311, 317), и тот, и другой (см.: В. М. Алексеев. Китайская литература..., 319–328) считают, что одним из ее форматизирующих элементов является игра с профессиональными прецедентами (конфуцианство, даосизм, буддизм), позволяющими представить сакральное и профанное в качестве неразделимого целого (соединить то, о чем говорил Конфуций, с тем, о чем он не говорил). По мнению В. М. Алексеева, «в мировой... литературе Ляо Чжая еще нужно созидать. Для этого нужно решить задачу переводческого стиля, а она... кажется неразрешимой, если не допустить к переводу чрезвычайно редкого в настоящее время и для читателя бесплодного... латинского языка» (В. М. Алексеев. Китайская литература..., стр. 317–318), по мнению Б. К. Пашкова, «маньчжурские переводы китайских текстов являются наиболее правильными и точными. Поэтому и переводы с китайского языка на какой-либо европейский, сделанные при свете маньчжурского перевода, отличаются наибольшей правильностью и близостью к подлиннику. Таким образом, наличие маньчжурского перевода Ляо-джай джи и дает уверенность, что при помощи его будет выполнен научный перевод произведения Пу Сун-лина и на европейские языки» (Б. К. Пашков. Ляо-джай джи и..., стр.19).

Расходятся они лишь в одном: Б. К. Пашков полагает, что «драматическая и повествовательная литература по своей форме была не туземного, а скорее западного происхождения и родиной своей имела Центральную Азию. Впрочем, указанные виды китайской повествовательной литературы могли быть и туземного происхождения, и содержание свое заимствовать из туземной же мифологии и истории» (Б. К. Пашков. Указ. ст., стр. 15). Если согласиться с первым высказанным предположением, то форму пусунлиновской прозы следует считать неавтохтонной вопреки утверждению

В. М. Алексеева о том, что «новеллы Ляо Чжяя считаются определенной проекцией конфуцианской хроники «Чуньцю», которая, как известно, пользуется фактами и фабулой единственно для вывода из них терминологии человеческих поступков, располагающихся по ту и по сю сторону морального императива (В. М. Алексеев. Китайская литература..., стр. 303).

Словом, несмотря на свой почтенный возраст, о статье Бориса Климентьевича Пашкова нельзя сказать: «Acta est fabula!».

Оглавление

Вместо предисловия и послесловия	3
Раздел I: Мини- и макростатьи и заметки (разных лет и на разные темы)	5
§1. Психолингвистика в третьем тысячелетии (попытка прогноза)	5
§2. Антропосемиология: основные понятия и их предварительная интерпретация	7
§3. Антропоцентризм vs. антропофилия: доводы в пользу второго понятия	12
§4. Языковая или семиотическая личность?	19
§5. Тетрагон и его грани: текст, контекст, подтекст и затекст	21
§6. I. Дискурс, текст, гипертекст	30
II. «Книга»: смерть подлинная или мнимая?	33
§7. Комментарии к трем статьям В. И. Абаева	39
§8. Сознание и ментальность: теоретические предпосылки их изучения	47
§9. Новая ментальность: в чем ее суть? (Монолог о предполагаемых «других»)	50
§10. Теория лакун и оптимизация межкультурного общения	54
§11. Семиосфера/ментосфера: четыре независимых микроописания	63
I. Дом и дорога в представлении вьетнамцев	63
II. Вьетнамские сравнения как переводческие ловушки	65
III. Китай: по воспоминаниям и книгам	66
IV. Несколько «букв» французского невербального алфавита (небольшое дополнение к §3)	72
§12. Форматы понимания: истины для себя и ложь для других?	76
§13. Цепочка реплик относительно форматов понимания (заметки антимавена)	80
§14. Можно ли понять форматы непонимания?	86
§15. Паремии и их опознание (предварительные итоги экспериментального исследования)	88

§16. «Карандаш на бумаге»: рассказ о вещах и о себе самих	119
§17. Мужчина и женщина в интерьере «Русского ассоциативного словаря»	136
§18. Эмоциональность или эмотивность? Или ни то и ни другое?	142
§19. «Романтические эссе» А. Р. Лурия и их эвристическая ценность	145
§20. «Сны Чанга»: попытка отгадки	146
§21. Несколько безнадежных мыслей о современной поэзии	156
§22. Аида Ясколка – давайте вспомним ее	160
§23. Запоздавший отзыв <i>Любовь Молоденкова. Вольная воля (Париж; Москва, 1997, 171 с.)</i> и репрезентация пола в художественной речи	164
§24. Эпитафия	173
§25. Поэтический текст и его коммуникативная тактика (попытка прогноза)	176
§26. О чем прошумела «Гроза» А. Н. Островского?	187
§27. Глагол ПРОИЗВЕСТИ/ПРОИЗВОДИТЬ: универсализация или что-то иное?	191
Раздел II: Реплики (по самым разным поводам)	200
§1. Ашот Сагратян и его «Введение в опыт перевода» ...	200
§2. Ситуативные перекрестки	202
§3. Ей нет завершения – этой веселой и грустной игре ..	205
§4. Разрешите вмешаться в спор?	210
§5. Еще одна реплика	215
§6. Из забытых споров (мелочи из памяти)	218
Оглавление	221

Сорокин Юрий Александрович

НЕКАНОНИЧЕСКАЯ РУСИСТИКА:
СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ
И РЕПЛИКИ

Корректор *Гусева А.И.*
Верстка *Гусева А.И., Зайцева Е.Л.*

Подписано в печать 08.12.2009. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная №1. Печать ризографическая.

Усл. печ. л. 21,1. Уч. изд. л. 14,7

Тираж 100 экз. Заказ № 000747.

ООО ИИЦ «Бон Анца»

426019, г. Ижевск, ул. Нагорная, 32, к. 201.

Тел./факс: (3412)71-37-72. E-mail: mail@izhcat.ru